

- [Оноре де Бальзак](#)

-

- [notes](#)

-

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)

- [14](#)

- [15](#)

- [16](#)

- [17](#)

- [18](#)

- [19](#)

- [20](#)

- [21](#)

- [22](#)

- [23](#)

- [24](#)

- [25](#)

- [26](#)

- [27](#)

- [28](#)

- [29](#)

- [30](#)

- [31](#)

- [32](#)

- [33](#)

- [34](#)

- [35](#)

- [36](#)

- [37](#)

- [38](#)

Оноре де Бальзак

Музей древностей

В центре главного города одной из наименее значительных префектур Франции, на углу улицы стоит дом; однако автор вынужден изменить и название улицы, и даже самого города. Каждый поймет причины этой благоразумной скромности, которой от нас требуют приличия. Ведь писатель, становясь летописцем своего времени, касается стольких язв!.. Дом назывался «отель д'Эгриньон», однако прошу вас считать фамилию владельца вымышленной и столь же мало отвечающей действительности, как и все эти Бельвали, Флорикуры, Дервили из комедий или Адальберы и Монбрезы из романов. Имена главных героев также будут изменены. Автору хотелось бы нагромоздить здесь как можно больше противоречий и анахронизмов, чтобы похоронить правду под грудой неправдоподобных и нелепых деталей; но она все-таки пробьется наружу, как мощный побег невыдернутой лозы на перекопанном винограднике.

«Отель д'Эгриньон» был попросту домом, где проживал старик аристократ по имени Шарль-Мари-Виктор-Анж-Кароль, маркиз д'Эгриньон, или следуя старинному написанию, — дэ Гриньон. Местное купечество и мещанство в насмешку величали его особняк «отелем», однако за двадцать лет большинство городских обывателей, говоря о доме маркиза, постепенно привыкли всерьез называть его «отель д'Эгриньон».

Имя Кароль (брatья Тьерри^[1], наверно, писали бы Короуль) носил некогда один из наиболее прославленных военачальников, пришедших с севера, чтобы покорить и закрепостить галлов. Кароли никогда не склоняли головы ни перед городами, ни перед королем, ни перед церковью, ни перед золотом. Некогда на них была возложена охрана «марки», одной из пограничных областей страны, и с тех пор титул маркиза почитался ими символом чести и долга, а не видимостью каких-то обязанностей. Ленное поместье д'Эгриньонов всегда принадлежало их роду. Это были исконные провинциальные аристократы, вот уже два века как позабытые двором, но зато не имевшие в крови ни капли чужеродной примеси, ставившие себя превыше всех сословий и слепо чтимые местным населением, как оно чтит суеверия или статую девы Марии, исцеляющую от зубной боли. Их род сохранился в глухой провинции, как сохраняются на дне реки почерневшие сваи древнего моста, построенного еще при Цезаре. В течение тринадцати столетий девушек из рода д'Эгриньонов неизменно выдавали замуж без приданого, или они уходили в монастырь; младшие сыновья всегда получали законную долю материнского наследства, становились воинами, епископами или женились на придворных дамах. Один из отпрысков младшей ветви рода д'Эгриньонов был адмиралом, затем сделался герцогом и пэром Франции и умер, не оставив потомства. Но маркиз д'Эгриньон, представитель старшей ветви, не пожелал принять герцогский титул.

— Я владею титулом маркиза по тому же праву, по какому король владеет французским государством, — заявил он коннетаблю де Люиню, бывшему тогда в его глазах весьма незначительной особой.

Не следует забывать, что «во время Смуты»^[2] некоторым из д'Эгриньонов отрубили головы. Вплоть до 1789 года члены этой семьи сохранили отвагу и гордость франков. Маркиз д'Эгриньон, описываемый в нашем повествовании, не эмигрировал: ведь он должен был охранять вверенный ему пограничный округ. Почтение, которое он сумел внушить местным крестьянам, спасло его от эшафота; однако ненависть подлинных санкюлотов оказалась достаточно могущественной, чтобы на все то время, пока он вынужден был скрываться, его

включили в списки эмигрантов.

Именем суверенного народа округ конфисковал поместье д'Эгриньонов, леса были проданы как национальное имущество, невзирая на то, что маркиз, которому тогда минуло сорок лет, лично ходатайствовал об их сохранении. Его сестре, мадемуазель д'Эгриньон, еще не достигшей совершеннолетия, удалось спасти небольшую часть поместья, благодаря усилиям молодого управляющего маркиза, который от имени своей доверительницы потребовал раздела наследственного имущества; таким образом, после расчета, произведенного Республикой, мадемуазель д'Эгриньон получила замок и несколько ферм. Маркиз дал деньги, и преданный Шенель приобрел на свое имя те земельные участки и те здания, которыми особенно дорожил его господин: церковь, церковный дом и прилегающий к замку парк.

Годы террора — медленные для одних и стремительные для других — миновали, и маркиз д'Эгриньон, своей стойкостью внушивший уважение окрестным жителям, пожелал вернуться и поселиться в замке с сестрой, мадемуазель д'Эгриньон, чтобы привести в порядок владения, которые спас верный Шенель, его бывший управляющий, ставший затем нотариусом. Но увы! Полуразрушенный и разграбленный замок был слишком велик, и восстановление его оказалось владельцу не по карману, ибо все феодальные поборы были отменены, леса вырублены, а из уцелевших земель он мог извлечь самое большее — девять тысяч франков годового дохода!

В октябре 1800 года, когда нотариус привез д'Эгриньона в его родовой замок, он не в силах был подавить грустного волнения при виде маркиза, недвижно стоявшего среди двора и созерцавшего засыпанные рвы и изуродованные башни. Гордый потомок франков безмолвно смотрел то на небо, то на обезглавленные готические башенки, где раньше высились резные флюгера, и словно вопрошал бога о причинах этих социальных потрясений. Один Шенель мог понять глубокое горе старого аристократа, именовавшегося тогда гражданином Каролем. Маркиз д'Эгриньон долго молчал, вдыхая воздух родных мест, затем с глубокой грустью промолвил:

— Шенель, мы вернемся сюда позднее, когда Смута кончится; до издания указа об умиротворении я не могу жить здесь, ибо *они* запрещают мне восстановить мой герб.

Он указал на замок, отвернулся, вскочил на коня и поехал рядом с сестрой, прибывшей в тряской плетеной таратайке нотариуса.

А в городе никакого «отеля д'Эгриньон» уже не было — его снесли и построили на том месте две небольшие фабрики. Шенель истратил последний оставшийся у маркиза мешочек с луидорами и приобрел на углу площади старый дом с крутой крышей, флюгером, башенкой и голубятней; дом этот, где некогда находился сеньориальный, а затем уголовный суд, раньше также принадлежал маркизу д'Эгриньону. Скупщик национальных имуществ за пятьсот луидоров возвратил это обветшавшее здание прежнему владельцу. И тогда-то, отчасти в насмешку, отчасти всерьез, дом и был назван «отель д'Эгриньон».

В 1800 году эмигранты начали возвращаться во Францию, и добиться, чтобы та или иная фамилия была вычеркнута из проскрипционных списков, уже не стоило особого труда. Одними из первых возвратились в город барон де Нуатр и его дочь; они были разорены. Маркиз д'Эгриньон великодушно предложил им приют в своем доме, где два месяца спустя барон и скончался от огорчений. Мадемуазель де Нуатр было двадцать два года, в жилах ее текла чистейшая дворянская кровь, и маркиз женился на ней, чтобы род д'Эгриньонов не угас; однако она, по вине неумелого врача, умерла родами, оставив, к счастью д'Эгриньонов, сына. Таким образом, бедный старик (хотя маркизу было тогда всего пятьдесят три года, тяжкие горести и превратности судьбы состарили его раньше времени) потерял последнюю отраду своей жизни, ибо скончавшаяся была прелестнейшим созданием и благороднейшей женщиной, в которой как бы возродилось ныне уже исчезнувшее светлое очарование женщин XVI века. Ее смерть была одним из тех ужасных ударов, которые сказываются в течение всей жизни. Простояв несколько

мгновений у смертного ложа супруги, которая покоилась как святая, со сложенными на груди руками, маркиз д'Эгриньон поцеловал ее в лоб; затем вынул часы, сломал механизм и повесил их над камином. Было одиннадцать часов утра.

— Мадемуазель д'Эгриньон, — сказал маркиз, — помолимся о том, чтобы этот час перестал быть роковым для нашего рода. Мой дядя архиепископ в этот час был убит, в этот же час скончался и мой отец...

Он опустил на колени возле кровати и приник к ней головой, сестра последовала его примеру. Через минуту оба поднялись; мадемуазель д'Эгриньон разрыдалась, но глаза маркиза, которыми он обвел комнату, новорожденного ребенка и мертвую мать, были сухи. Непреклонность древнего франка сочеталась в нем с христианской твердостью духа.

Это происходило во втором году нашего столетия. Мадемуазель д'Эгриньон было тогда двадцать семь лет, она слыла красавицей. Некий выскочка, местный уроженец, занимавшийся поставками для республиканских армий и имевший тысячу экю годового дохода, после продолжительных уговоров добился от Шенеля обещания передать мадемуазель д'Эгриньон его предложение руки и сердца. Брат и сестра были в равной степени разгневаны подобной дерзостью. Шенель пришел в отчаянье от того, что дал себя уговорить какому-то дю Круазье. С этого дня ни в обращении с ним маркиза д'Эгриньона, ни в его словах нотариус уже не чувствовал прежней ласковой благосклонности, которую можно было даже принять за дружбу. Отныне маркиз выказывал ему только благодарность, и хотя это чувство было полно искренности, благородства, оно служило причиной постоянных страданий нотариуса. Существуют столь возвышенные души, что благодарность кажется им слишком роскошной наградой, они предпочитают чувство более ровное и спокойное, которое дается дружеским согласием мыслей и свободным излиянием сердец. Нотариусу Шенелю раньше было дано вкусить сладость этой почетной дружбы: маркиз поднял его до себя. Для старика аристократа добряк Шенель был чем-то средним между ребенком и слугой, добровольным вассалом и крепостным, привязанным всем существом к своему сюзерену. Д'Эгриньоны давно перестали видеть в Шенеле только нотариуса: их отношения питались искренней и прочной обоюдной привязанностью. Официальное положение нотариуса не имело решительно никакого веса в глазах маркиза, ему казалось, что Шенель по-прежнему его слуга, только переряженный нотариусом. А в глазах Шенеля маркиз неизменно оставался существом чуть ли не божественного происхождения; бывший управляющий преклонялся перед аристократией; вспоминая о том, что его отец некогда распахивал двери в доме д'Эгриньона и провозглашал «кушать подано», он не испытывал никакого стыда. Преданность его этому разорившемуся роду проистекала не только из чувства благоговения перед знатью, но и из своего рода эгоизма, ибо Шенель уже привык считать себя как бы членом этого семейства. Перемена в отношении к нему маркиза была для него тяжелым ударом. Когда он, несмотря на запрещение, дерзнул наконец заговорить о своем проступке, маркиз торжественно заявил ему:

— Шенель, до Смуты ты ведь не позволил бы себе передать моей сестре столь оскорбительное предложение? Каковы же эти новые теории, если они совратили даже тебя!

Нотариус Шенель пользовался не только доверием, но и уважением всего города: неподкупная честность и значительное состояние способствовали его авторитету. После описанного случая в его сердце вспыхнуло непреодолимое отвращение к дю Круазье. И хотя нотариус не был злопамятным человеком, он все же постарался восстановить против своего врага многие знакомые семьи. Дю Круазье, человек мстительный, вынашивал в своей груди злобные замыслы чуть не два десятилетия, затаив против нотариуса и д'Эгриньонов ту глухую и беспощадную ненависть, какую можно встретить только в провинциальной глуши. Полученный отказ буквально уничтожил его в глазах насмешливых провинциалов, среди которых он

намеревался жить и над которыми мечтал главенствовать. Катастрофа, постигшая его, была столь ощутимой, что последствия ее не замедлили сказаться. Одна старая дева, к которой он с горя посватался, также отвергла его. Таким образом, взлелеянные им честолюбивые мечты рухнули: во-первых, из-за отказа мадемуазель д'Эгриньон, союз с которой открыл бы ему доступ в Сен-Жерменское предместье провинции, во-вторых — из-за отказа старой девицы, настолько уронившего его престиж, что ему стоило немало труда сохранить некоторое влияние хотя бы во второразрядных кругах городского общества.

В 1805 году г-н де Ларош-Гюйон, старший сын одного из наиболее именитых семейств округа, некогда породнившегося с д'Эгриньонами, попросил через Шенеля руки мадемуазель д'Эгриньон. Мари-Арманда-Клер д'Эгриньон отказалась даже выслушать нотариуса.

— Вы должны были бы понять, милый Шенель, что я теперь мать, — сказала она, укладывая спать племянника, прелестного пятилетнего ребенка.

Старик маркиз встал, направился к сестре, которая только что отошла от кровати, и почтительно поцеловал ей руку; затем уселся на прежнее место и, овладев собой, наконец произнес:

— Вы истинная д'Эгриньон, сестра моя!

Достойная девушка вздрогнула и залилась слезами. Г-н д'Эгриньон, отец маркиза, будучи уже в преклонном возрасте, женился вторым браком на внучке откупщика, получившего дворянство при Людовике XIV. Семья д'Эгриньон считала этот брак невероятным мезальянсом, однако ему не придавали особого значения, ибо от него родилась только одна дочь. Арманде это было известно. Хотя брат неизменно относился к ней с исключительной добротой, он видел в ней до этого случая чужую; теперь данный ею ответ как бы узаконивал ее положение в семье. Но разве этот ответ не являлся прекрасным венцом всего ее благородного поведения? В течение одиннадцати лет, со дня совершеннолетия Арманды, каждый ее поступок был отмечен чистейшим самопожертвованием. А перед братом она благоговела.

— Я умру девицей д'Эгриньон, — просто ответила она нотариусу.

— Для вас не может быть более достойного имени, — отозвался Шенель, полагая, что сделал комплимент.

Бедная девушка покраснела.

— Ты сказал глупость, Шенель, — заметил маркиз, одновременно и польщенный словами бывшего слуги, и недовольный, что они огорчили его сестру. — Урожденная д'Эгриньон может выйти даже за Монморанси: у нас кровь чище, чем у них. На гербе д'Эгриньонов — рыцарь в золотых латах и лев с двумя алыми перевязями, и за девятьсот лет наш герб не изменился, оставшись в точности таким же, как в первый день. Отсюда девиз «*Cil est nostre*»^[3], принятый нашим родом на одном из турниров Филиппа-Августа; отсюда рыцарь и лев.

«Я не помню, чтобы когда-нибудь встречал женщину, так сильно поразившую мое воображение, как поразила его мадемуазель д'Эгриньон, — пишет Блонде, которому современная литература обязана, между прочим, и этой историей. — Я был, правда, еще очень юным, почти ребенком, и, может быть, впечатления, оставленные ею в моей памяти, обязаны яркостью своих красок тому влечению к чудесному, которое присуще этому возрасту. Когда я видел еще издали, как она, ведя за руку своего племянника Викторньена, не спеша идет по широкой аллее, где я играл с другими детьми, меня пронизывало чувство, напоминавшее действие гальванического тока, и, как я ни был юн, мне казалось, что во мне пробуждается новая жизнь. У мадемуазель Арманды были рыжевато-каштановые волосы, ее щеки покрывал легчайший, отливавший серебром пушок, который мне страшно нравился, и я старался повернуться так, чтобы солнечный свет падал на ее профиль; я отдавался обаянию ее мечтательных глаз с зеленоватым оттенком, от взгляда которых меня бросало в жар. Я начинал

кагаться по траве, делая вид, что играю, а на самом деле, чтобы оказаться как можно ближе к ее маленьким ножкам и полюбоваться ими. Белизна ее кожи, тонкость черт, чистые линии лба, изящество стройного стана каждый раз вновь поражали меня, хотя я и не сознавал, что стан ее строен, лоб прекрасен, а овал лица — совершенство. Я восхищался ею так же, как в этом возрасте молятся дети, сами хорошенько не ведая о чем. Когда мои упорные взгляды наконец привлекали ее вниманье и она спрашивала мелодичным голосом, казавшимся мне полновочувственнее всех голосов на земле: «Что ты тут делаешь, мальчик? Отчего ты так смотришь на меня?» — я подходил ближе, переминался с ноги на ногу, грыз ногти и, наконец, краснея, отвечал: «Не знаю». А если случалось, что она гладила меня белой рукой по голове и спрашивала, сколько мне лет, я убегал и уже издали кричал: «Одиннадцать». Когда мне доводилось читать «Тысячу и одну ночь» и в сказке действовала царица или фея, я наделял их лицом и походкой мадемуазель д'Эгриньон. А когда учитель рисования заставлял меня срисовывать античные головы, я замечал, что волосы у них лежат так же, как у мадемуазель д'Эгриньон. Позднее сумасбродные мечты одна за другой исчезли, но мадемуазель Арманда, при появлении которой на главной аллее мужчины почтительно расступались, чтобы дать ей дорогу, и смотрели ей вслед, любуясь волнующими складками ее длинного коричневого платья, пока она не скрывалась из виду, — мадемуазель Арманда осталась жить в уголке моей памяти как идеал женской красоты. Изящные очертания ее фигуры, которые иногда обрисовывал порыв ветра и которые я угадывал, несмотря на ее широкое платье, эти совершенные очертания вновь воскресли в моих юношеских мечтах. А еще позднее, когда я упорно стремился постичь некоторые тайны человеческой души, память подсказывала мне, что мое уважение к мадемуазель д'Эгриньон, родившееся еще в ранней юности, быть может, вызвано было особым выражением, запечатленным в чертах ее лица и во всем облике. Спокойствие этого ясного чела в сочетании с затаенной душевной пылкостью, благородное достоинство всех ее движений, ореол исполненного долга — все это глубоко трогало и покоряло меня. Дети гораздо более восприимчивы к незримым воздействиям идей, чем принято думать: они никогда не смеются над человеком, заслуживающим почитания, подлинная прелесть их трогает, красота влечет, ибо они сами прекрасны, а между явлениями одной и той же природы существует таинственная связь. Мадемуазель д'Эгриньон была в свое время для меня предметом почтительного преклонения, и даже теперь, когда мое бурное воображение иной раз увлекает меня по витой лестнице средневекового замка, оно неизменно рисует мне образ мадемуазель Арманды как символ далеких рыцарских времен. Когда я читаю старинные хроники, она встает передо мной в образах прославленных женщин — то она Агнесса, то Мари Туше, то Габриэль. Я наделяю ее той любовью, которой она могла бы любить, но которая так и осталась погребенной в ее сердце. Это небесное виденье, мелькнувшее среди моих смутных детских мечтаний, появляется и теперь в тумане моих грез».

Запомните этот портрет, он верно отражает и физические и нравственные черты оригинала! Мадемуазель д'Эгриньон — одна из наиболее поучительных фигур этой повести, она дает наглядный пример того, что добродетели могут принести вред, если они не озарены светом разума.

В течение 1804 — 1805 годов две трети эмигрировавших семейств вернулись во Францию, и почти все, кто был из той же провинции, что и маркиз д'Эгриньон, опять водворились в своих наследственных поместьях. Не обошлось и без отступников: многие дворяне пошли на службу к Наполеону — одни оказались в его армии, другие — при дворе; а некоторые породнились с семействами новых богачей. Все, кто связал свою судьбу с Империей, вернули себе состояние и благодаря щедрости императора получили обратно свои поместья и леса; многие осели в Париже; но восемь-девять древних дворянских родов остались верны изгнанной аристократии и павшей монархии: это были Ларош-Гюйоны, Нуатры, Верней, Катераны, Труавили и другие;

иные были богаты, иные — бедны; однако для них важно было не золото: превыше всего они почитали древность рода и чистоту крови, подобно тому как для антиквара ценность медали — не в ее весе, а в сохранности букв и изображения и в древности чеканки. Эти семьи признали своим главою маркиза д'Эгриньона; его дом сделался местом их собраний. Здесь император, властитель Франции, неизменно оставался всего лишь господином Буонапарте; здесь властвовал Людовик XVIII, живший тогда в Митаве; здесь департамент по-прежнему именовался провинцией, а префектура — интендантством.

Своей прямою, честностью и бесстрашием маркиз д'Эгриньон снискал искреннее восхищение окружающих, а его несчастья, твердость и непоколебимая верность своим взглядам заслужили ему уважение всего города. Маркиз, эта великолепная развалина, сохранял то неподдельное величие, которое мы находим в грандиозных обломках прошлого. Рыцарская щепетильность д'Эгриньона была настолько известна, что во многих случаях враждующие стороны единодушно избирали его своим судьей. Все хорошо воспитанные люди из числа сторонников Империи и даже местные власти относились к его предрассудкам снисходительно, а к его личности — с уважением. Но бóльшая часть нового общества, люди, которые во время Реставрации стали называться «либералами» и во главе которых тайно стоял дю Круазье, издевались над отелем д'Эгриньон — оазисом, куда допускались только чистокровные аристократы, и притом примерного поведения. Их злоба разгоралась тем сильнее, что многие почтенные люди, вполне достойные мелкопоместные дворяне, а также некоторые представители префектуры упорно продолжали считать салон маркиза д'Эгриньона единственным местом, где собирается хорошее общество. Префект, камергер императорского двора, всячески старался туда проникнуть, а пока смиренно посылал в «отель» свою супругу, урожденную Гранлье. И вот люди отвергнутые, из ненависти к этому провинциальному Сен-Жерменскому предместью в миниатюре, прозвали салон маркиза д'Эгриньона «Музеем древностей». Самого маркиза они упорно именовали «господином Каролем», причем сборщик налогов, посылая ему повестки, неизменно прибавлял в скобках: «бывшему дэ Гриньону». Это старинное написание фамилии маркиза заключало в себе насмешку.

«Что касается меня, — писал Эмиль Блонде, — то, обращаясь к воспоминаниям детства, я должен сознаться, что, невзирая на все мое уважение, даже любовь к мадемуазель Арманде, — название «Музей древностей» всегда вызывало у меня невольный смех.

Отель д'Эгриньон стоял на углу двух улиц; гостиная выходила двумя окнами на одну и двумя окнами на другую из этих улиц — самых людных в нашем городе. До Рыночной площади было шагов пятьсот. Гостиная походила на стеклянную клетку, и каждый идущий мимо непременно заглядывал в нее. Мне, двенадцатилетнему мальчугану, эта комната всегда казалась одной из тех диковинок, о которых вспоминаешь впоследствии как о чем-то, стоящем на грани действительности и фантазии, причем не знаешь даже, к чему это было ближе. Гостиная — в прошлом зал судебных заседаний — находилась над подвальным помещением с решетчатыми отдушинами, — некогда там томились местные преступники, а теперь была кухня маркиза. Не знаю, испытал ли я при виде громадного и роскошного камина в Лувре, с его чудесной скульптурой, столь же глубокое изумление, как перед большим камином этой гостиной, пестро-узорчатым, словно дыня, и украшенным сверху барельефом, изображавшим Генриха III на коне (при нем эта провинция, некогда самостоятельное герцогство, была присоединена к королевским землям). Потолок поддерживали балки из каштанового дерева, которые, перекрещиваясь, образовали квадраты с вписанными в них арабесками. Края этого великолепного плафона были позолочены, но позолота уже потускнела и была едва заметна. Стены были обтянуты шелковыми тканями обоями; на них в шести картинах изображался суд Соломона, а на резных золоченых рамах резвились амуры и сатиры. По желанию маркиза, в

гостиной был выложен узорный паркет. Среди всякого хлама, оставшегося после продажи замков в 1793 — 1795 годах, нотариусу удалось разыскать консоли в стиле Людовика XIV, штофную мебель, столы, стенные часы, люстры и фигурные канделябры, — все эти вещи чрезвычайно украсили нелепо-огромную, похожую на сарай гостиную, совершенно не соответствовавшую размерам дома; к счастью, смежная с ней передняя была такой же высоты. Она служила когда-то приемной президиального суда, к ней, в свою очередь, примыкал зал для совещаний, превращенный теперь в столовую. Под этими обветшавшими сводами — жалкими останками безвозвратно ушедшего прошлого — прохаживалось девять или десять вдовствующих аристократок; у одних тряслась голова, другие почернели и высохли, как мумии; иные держались неестественно прямо, другие — согнулись в три погибели; все они были разряжены в более или менее диковинные платья, находившиеся в полном разладе с модой, напудренные волосы завивали в букли и носили чепцы с пышными бантами и пожелтевшими кружевами. Никакие рисунки, самые карикатурные и самые глубокомысленные, не могли бы передать фантастический облик этих старух, которые и сейчас еще встают в моей памяти и гримасничают в моих сновидениях после каждой встречи с какой-нибудь старой женщиной, напоминающей их лицом или одеждой. Но потому ли, что я сам, испытав немало горя, приобрел способность проникать в сокровеннейшие тайники человеческого сердца, научился понимать все человеческие чувства, особенно — сожаление об утраченном и горечь старости, мне кажется, нигде потом, ни у умирающих, ни у живых, не видел я таких глаз — серых, тусклых погасших глаз или черных и лихорадочно блестящих, как у некоторых старух в этой гостиной. Словом, наиболее зловещие образы, созданные мрачной фантазией Мэтьюрин или Гофмана, не вызывали во мне такого ужаса, как эти горбатые фигуры, двигавшиеся подобно автоматам. Один из моих приятелей, в детстве такой же проказник, как я, говорил: «Румяна актеров уже не поражают меня, после того как я видел эти застарелые, несмывающиеся румяна». В комнате мелькали плоские, но изрытые морщинами лица, похожие на деревянные лица щелкунчиков, которых выделывают в Германии. Я видел сквозь оконные стекла безобразные горбы и развинченные фигуры, причем никак не мог уловить их строение и связь между отдельными членами тела; передо мной появлялись квадратная выставившаяся вперед челюсть, костлявое плечо, необъятные бедра. Когда эти женщины ходили по комнате, они казались мне не менее жуткими, чем когда сидели за картами, неподвижные, точно мертвецы. Лица мужчин, собиравшихся в этой гостиной, своими поблекшими серыми тонами напоминали выцветшую обивку стен. Старики эти, несомненно, были поражены недугом нерешительности; платье их приближалось к современной моде больше, чем у старух, но седина, увядшие лица, восковая кожа, морщинистые лбы и угасший взгляд роднили их со старухами, и это сходство разрушало ту относительную реальность, которую им придавала современная одежда. Уверенность в том, что я неизменно в один и тот же час увижу эти фигуры за карточным столом или просто сидящими в креслах, еще больше подчеркивала в них нечто театральное, напыщенное, неестественное. Никогда я потом не входил в знаменитые дворцовые хранилища в Париже, Лондоне, Вене, Мюнхене, где старики сторожа показывают вам все великолепие былых времен, без того, чтобы мысленно не населить эти кунсткамеры фигурами из Музея древностей. Мы, школьники девяти-десяти лет, сговорившись, нередко, в виде развлечения, бегали поглядеть на эти диковинки в стеклянной клетке. Но едва я замечал пленительную мадемуазель Арманду, я вздрагивал, а затем с завистливым восхищением любовался прелестным ребенком Виктюрньеном, который нам всем казался существом более высокого склада, чем мы. Среди преждевременно разбуженных кладбищенских мертвецов это юное и свежее создание поражало нас чем-то необычным. Не отдавая себе в том отчета, мы чувствовали себя ничтожными и ограниченными буржуа перед столь горделивым сборищем аристократов».

Катастрофы 1813 — 1814 годов, которые привели к падению Наполеона, возродили к жизни завсегдаев Музея древностей, а главное, внушили им надежду на возврат их прежнего влияния; но события 1815 года^[4] и бедствия, вызванные иностранной оккупацией, а затем колебания правительства отсрочили до дня падения Деказа осуществление чаяний этих людей, столь живо описанных Блонде. Таким образом, наше повествование начинается, собственно, лишь с 1822 года.

Несмотря на привилегии, которые Реставрация дала в 1822 году эмигрантам, состояние маркиза д'Эгриньона не увеличилось. Пожалуй, ни один из дворян, пострадавших от революционных законов, не разорился так сильно, как он. Доходы его до 1789 года основывались главным образом на феодальных правах на ленные владения; многие знатные роды старались дробить свои земли как можно мельче, чтобы взимать больше податей и поборов. Дворянские семьи, находившиеся в подобном положении, были разорены и не имели никакой надежды улучшить его, ибо указ Людовика XVIII о возвращении бывшим эмигрантам непроданных имений ничего не мог им вернуть; а принятый впоследствии закон о возмещении убытков^[5] также не мог ничего им возместить. Каждому известно, что поместья, которых лишились д'Эгриньоны, перешли в казну под названием «национальных имуществ». Маркиз д'Эгриньон принадлежал к числу роялистов, отклонивших всякое соглашение с теми, кого он называл не революционерами, а бунтовщиками, или, употребляя более парламентский термин, — либералами и конституционалистами. Вожаками этих роялистов (оппозиция называла их просто «ультра») были смелые ораторы «правой», которые, после первого же заседания палаты в присутствии короля, попытались, как, например, г-н де Полиньяк^[6], протестовать против Хартии, изданной Людовиком XVIII^[7], рассматривая ее как неудачный указ, вызванный временной необходимостью, и полагая, что король его пересмотрит. Маркиз д'Эгриньон не пожелал участвовать в обновлении обычаев и нравов, которое попытался осуществить Людовик XVIII, спокойно оставался в стороне, всегда готовый поддержать крайних правых; он ожидал, что ему возвратят все его огромное состояние, и не допускал даже мысли о каком-то «возмещении убытков», которым было так озабочено министерство Виллеля, желавшее таким путем укрепить королевский престол, уничтожить роковое неравенство в имущественном положении дворян, продолжавшее существовать, несмотря на новые законы. Необычайные происшествия, которые привели к Реставрации 1814 года, и еще более необычайное событие — возвращение к власти Наполеона в 1815 году, новое бегство Бурбонов и их вторичное возвращение, все эти легендарные перипетии современной истории произошли, когда маркизу было уже шестьдесят семь лет. В таком возрасте даже у самых непокорных натур того времени, не столько ослабевших от лет, сколько подорванных потрясениями в годы революции и Империи и похоронивших себя в провинциальной глуши, жажда действия иссякла и осталась лишь ярая непримиримость взглядов; почти все эти люди оказались замкнутыми в тесные рамки спокойной и раздражающей своим однообразием провинциальной жизни. А разве не величайшее несчастье для политической партии, если она состоит из стариков, да еще когда и сами ее идеи устарели? В 1818 году законная королевская власть казалась прочно утвердившейся, но маркиз задал себе вопрос, что, собственно, делать ему, семидесятилетнему старцу, при дворе? Какой пост может он там занять, какой деятельности может посвятить себя? И гордый аристократ д'Эгриньон решил (впрочем, ему ничего другого и не оставалось) удовольствоваться торжеством монархии и религии и ожидать результатов этой неожиданной и сомнительной победы, которая и оказалась всего лишь перемирием. Он продолжал царить в своем салоне, столь удачно прозванном Музеем древностей. При Реставрации люди, побежденные в 1793 году, оказались победителями, и безобидная шутовость этого прозвища

приобрела некоторую ядовитость.

Городок, где жил д'Эгриньон, как и большинство провинциальных городов, не избежал той ненависти и зависти, которые обычно порождаются борьбой партий. Вопреки всем ожиданиям, дю Круазье все-таки женился на богатой старой деве, когда-то отказавшей ему, женился, несмотря на то, что его соперником был известный баловень местной аристократии — некий шевалье, чье славное имя нам надлежит сохранить в тайне. Будет достаточно, если мы, следуя старинному обычаю города, приведем лишь его титул: ибо все его называли просто «шевалье», подобно тому как при дворе называли графа д'Артуа просто «Мосье». Брак дю Круазье не только вызвал самую беспощадную войну, какие бывают лишь в провинции, — он ускорил в городе повсеместно происходивший разрыв между крупным и мелким дворянством, между буржуазией и дворянством, на миг было объединившимися под давлением всемогущей власти Наполеона. Этот внезапный разрыв причинил Франции немало бед. Наиболее характерная черта французов — тщеславие и самолюбие. Именно оскорбленным самолюбием множества людей объясняется и пробудившаяся в них жажда равенства, хотя самые рьяные новаторы впоследствии решили, что равенство невозможно. Роялисты жалили либералов в самые уязвимые места. Обе партии, особенно в провинции, обвиняли друг друга во всевозможных мерзостях и занимались постыдной клеветой. В политике творились тогда самые черные дела; эти партии стремились привлечь на свою сторону общественное мнение и обеспечить себе голоса невежественной толпы, которая сама раскрывала объятая и тянулась к людям достаточно ловким, чтобы дать ей в руки оружие. Эта вражда вылилась в борьбу нескольких лиц. А враги политические стали тотчас и личными врагами. В провинции трудно не перейти врукопашную по поводу таких вопросов и интересов, которые в столице принимают общую, чисто теоретическую форму и поэтому придают особый вес их защитникам: например, г-н Лаффит^[8] или Казимир Перье^[9] уважают в г-не де Виллеле или г-не до Пейронне^[10] человека. Лаффит, который довел дело до стрельбы в министров, охотно спрятал бы их у себя в особняке, явись они к нему двадцать девятого июля 1830 года. Бенжамен Констан^[11] послал виконту де Шатобриану^[12] свою книгу о религии, сопроводив ее лестным письмом, в котором сознается, что он кое-что почерпнул у этого министра Людовика XVIII. В Париже люди — это олицетворение системы; в провинции же, наоборот, системы воплощены в живых людях, и притом с непостоянными страстями; эти люди подстерегают друг друга, вторгаются в частную жизнь своих противников, извращают их речи; следят друг за другом, словно дуэлянты, готовые при малейшей неосторожности врага всадить ему в бок смертоносную шпагу, и стремятся вызвать эту неосторожность; они поглощены своей ненавистью, как безжалостные и азартные игроки. Здесь человека осыпают эпитафиями и преследуют клеветническими наветами под предлогом борьбы с его партией.

В этой войне, которая Музеем древностей велась учтиво и без желчи, а в особняке дю Круазье принимала самые свирепые формы вплоть до употребления отравленного оружия, как у дикарей, — тонкая ирония и преимущество развитого ума были на стороне аристократии. А хорошо известно, что из всех ран, наносимых словом и взглядом, самые неизлечимые наносятся насмешкой и презрением. С той поры, когда шевалье покинул гостиные, где встречалось смешанное общество, и удалился на священную гору аристократии, он направил стрелы своего остроумия против салона дю Круазье и разжег войну, не задумываясь о том, до чего жажда мщения может довести кружок дю Круазье в борьбе с Музеем древностей. В отель д'Эгриньон допускались только благонамеренные и безупречные дворяне и женщины, вполне уверенные друг в друге; здесь не могло быть места никакой нескромности. Поэтому их речи и мнения, каковы бы они ни были, — хорошие или дурные, правильные или ложные, возвышенные или нелепые, — не могли дать пищи для насмешек. Чтобы высмеивать аристократов, либералам

приходилось избирать мишенью их политические действия, тогда как роялисты были в более выгодном положении: чиновники, занимавшие промежуточное место между враждебными лагерями и заискивавшие у родовитого дворянства, пересказывали новости и разговоры, дававшие немало поводов для насмешек над либералами.

Сознание своей униженности, которую сторонники дю Круазье живо ощущали, еще более усиливало в них жажду мести. В 1822 году дю Круазье встал во главе промышленников департамента, подобно тому как д'Эгриньон стоял во главе дворянства. Таким образом, каждый из них представлял определенную партию. Вместо того чтобы открыто и не лукавя признаться в своем сочувствии крайне левой, дю Круазье объявил себя сторонником тех взглядов, которые были впоследствии сформулированы в заявлении «двухсот двадцати одного» ^[13]. Поэтому он получил возможность объединить вокруг себя представителей суда, местной администрации и финансов. Люди, собиравшиеся в салоне дю Круазье, являлись не меньшей силой, чем завсегдатаи Музея древностей, к тому же они были многочисленнее, моложе, деятельнее и в конце концов приобрели решающее влияние на все дела департамента, а Музей древностей продолжал оставаться в стороне, как бесплатное приложение к королевской власти, которой партия крайних роялистов нередко мешала, ибо способствовала ее промахам и даже толкала на путь ошибок, оказавшихся для монархии роковыми.

Либералы, которым в этом непокорном департаменте никогда не удавалось провести в парламент хотя бы одного из своих кандидатов, знали, что в случае, если дю Круазье будет избран, он окажется среди левого крыла центра или даже среди крайних левых. Банкирами дю Круазье были три брата Келлер; старший из них блистал в палате среди девятнадцати представителей левого крыла, этой фаланги, прославленной всеми либеральными газетами, и все три брата преуспевали благодаря своей близости с графом де Гондревилем, пером-конституционалистом, пользовавшимся расположением Людовика XVIII. Итак, конституционная оппозиция была готова в последний момент передать дю Круазье свои голоса, обещанные для вида подставному кандидату, — если бы дю Круазье удалось собрать достаточное число голосов роялистов, чтобы обеспечить себе большинство. На каждых выборах роялисты проваливали дю Круазье, ибо верхушка роялистской партии во главе с маркизом д'Эгриньоном неизменно отгадывала, разбирала и осуждала все его уловки, и каждые выборы все более усиливали ненависть этого неудачливого кандидата и его партии к аристократам. Ничто так не разжигает вражду политических группировок, как бесполезность с трудом расставленной западни.

В 1822 году борьба партий, носившая в первые годы Реставрации чрезвычайно острый характер, казалось, затихла. И салон дю Круазье, и Музей древностей, узнав все сильные и слабые стороны друг друга, видимо, ожидали счастливого случая, играющего для партий роль провидения.

Близорукие люди довольствовались этим мнимым спокойствием, которое обманывало даже монарха; но тем, кто ближе знал дю Круазье, было ясно, что он, как и все, кто живет холодным рассудком, будет мстить беспощадно, тем более что эта месть разжигалась политическим честолюбием. Дю Круазье, который некогда краснел и бледнел при одном имени д'Эгриньонов или шевалье и вздрагивал, упоминая о Музее древности или слыша, как о нем упоминают другие, теперь прикидывался невозмутимым, точно индеец. Он приветливо улыбался своим врагам, хотя по-прежнему ненавидел их и с каждым часом следил за ними все пристальнее. А им казалось, что, отчаявшись в победе, дю Круазье решил жить спокойно. Одним из его ближайших сподвижников, также участвовавших в расчетах этой затаенной ярости, был председатель суда, г-н дю Ронсере, мелкопоместный дворянин, тщетно добивавшийся чести быть принятым в Музее древностей.

Небольшого состояния д'Эгриньонов, которое заботливо и умело оберегал нотариус Шенель, едва хватало на то, чтобы поддерживать скромное существование маркиза, который жил как подобает дворянину, но не позволял себе ни малейшей роскоши. В доме маркиза жил воспитатель молодого графа Виктюрньена — единственной надежды рода д'Эгриньонов, — бывший монах-ораторианец, рекомендованный епископом, и ему приходилось платить известное вознаграждение. Жалованье кухарки, горничной мадемуазель Арманды, старика камердинера маркиза и еще двух слуг, господский стол для четверых и расходы по воспитанию молодого графа, ради которого не жалели денег, поглощали все средства д'Эгриньонов, несмотря на крайнюю бережливость мадемуазель Арманды, мудрую распорядительность Шенеля и преданность слуг. Старик нотариус все еще не мог произвести никакого ремонта в полуразрушенном замке. Он ожидал, пока истекнут сроки договоров, заключенных еще в 1809 году с арендаторами земель д'Эгриньона, намереваясь изыскать затем новые способы для увеличения доходов маркиза — или путем улучшения обработки земли, или в результате понижения курса денег. Маркиз не вникал ни в мелочи хозяйства, ни в управление имениями. Узнай он, какие героические усилия делал Шенель, чтобы, по выражению хозяек, свести концы с концами, это поразило бы его как громом. Но никто из домочадцев не решался разрушить иллюзии старого аристократа, приближавшегося к концу своего жизненного пути.

Величие рода д'Эгриньонов, о котором не думали ни придворные, ни правительство и которое за пределами городских стен и ближайших окрестностей никому даже не было известно, это величие в воображении маркиза и его приверженцев воскресало во всем своем былом великолепии. Они были убеждены, что в лице Виктюрньена род д'Эгриньонов обретет новый блеск, когда разоренные дворяне возвратятся в свои поместья или когда достойный наследник появится при дворе, чтобы служить королю и жениться, как женились в старину д'Эгриньоны, на девице из рода Наварренов или Кадиньянов, д'Юкзелей, Босеанов или Бламон-Шоври, соединяющей в себе все преимущества высокой родовитости с красотой, умом и добродетельным характером. Завсегдатаи, собиравшиеся каждый вечер в Музее древностей поиграть в карты, — шевалье, Труавили (произносите «Тревили»), Ларош-Гюйоны, Кастераны (произносите «Катераны»), герцог де Верней, — давно привыкли видеть в гордом маркизе особу необычной значительности и поддерживали в нем его упования. В них не было ничего несбыточного, и, вероятно, надежды маркиза исполнились бы, если бы можно было вычеркнуть из истории Франции последние сорок лет. Но самые почтенные, самые бесспорные права, которые Людовик XVIII попытался закрепить Хартией, датировав ее «двадцать первым годом» своего царствования, не будут иметь силы, если они не подтверждены всеобщим согласием. Д'Эгриньонам недоставало того, на чем зиждется современная политика, — то есть денег, главной опоры новой аристократии; не умели они также показать себя необходимыми участниками дальнейшего исторического развития; славу такого участия можно теперь завоевать и при дворе, и на полях сражений, и в дипломатических салонах, и на общественной трибуне, с помощью книг или авантюры. Эта слава необходима каждому новому поколению как своего рода священное миропомазание. Знатная семья, пребывающая в бездействии и забвении, подобна девице на выданье, глупой, некрасивой, бедной и добродетельной, — словом, имеющей все основания быть несчастной. Брак между мадемуазель де Труавиль и генералом Монкорне не только ничему не научил Музей древностей, но едва не оказался причиной разрыва между Труавилями и салоном д'Эгриньонов, заявившим, что «Тревили себя запятнали».

Лишь один среди всех окружавших маркиза людей не разделял их иллюзий. Надо ли говорить, что это был старик нотариус Шенель? Хотя его преданность старинному роду, представленному ныне тремя лицами, была беспредельной, что достаточно убедительно подтверждается нашим повествованием, хотя он вполне разделял взгляды маркиза и находил их

правильными, — Шенель все же обладал здравым смыслом и приобрел столь обширный опыт, ведя дела большинства видных семей департамента, что не мог не учитывать мощного движения умов и не признать великих перемен, вызванных ростом промышленности и новыми нравами. Бывший управляющий видел, как революция от разрушительных деяний 1793 года, когда она вкладывала оружие в руки мужчин, женщин, детей, воздвигала эшафоты, рубила головы и выигрывала сражения на полях Европы, перешла к мирному осуществлению идей, некогда освятивших эти события. После пахоты и сева наступало время жатвы. Шенель понимал, что революция определила сознание нового поколения, он осязал реальность фактов, видел тысячи ран и чувствовал, что возврата к прошлому быть не может; то, что королю отрубили голову, казнили королеву, отобрали землю у дворян, — все это в его глазах завело страну слишком далеко, затрагивало слишком много интересов, чтобы заинтересованные позволили уничтожить плоды этих действий. Шенель трезво смотрел на вещи. Его фанатическая преданность д'Эгриньонам была беспредельной, но не слепой и становилась от этого еще благороднее. Вера, позволяющая молодому монаху узреть небесных ангелов, все же не так сильна, как у старого монаха, который этих ангелов ему показывает. Шенель походил на старого монаха, он отдал бы свою жизнь, защищая священную раку с мощами, хотя бы в ней уже завелись черви. Всякий раз, когда Шенель с тысячью предосторожностей пытался объяснить своему бывшему господину все эти «новшества», то иронизируя над ними, то притворно удивляясь или негодуя, на устах маркиза неизменно появлялась высокомерная улыбка, а в его душе, видимо, жила твердая уверенность, что все это «безумие» пройдет, как проходили многие другие. Никто не замечал, насколько внешний ход событий поддерживал предубеждения гордых защитников развалин былого. Действительно, что мог ответить Шенель старому маркизу, когда тот с властным жестом говорил ему:

— Бог смел с лица земли Буонапарте с его армиями и новыми могучими вассалами, сокрушил воздвигнутые им престолы и развеял в прах его горделивые замыслы! Бог освободит нас и от всего остального.

Шенель грустно поникал головой, не смея возразить: «Не сметет же бог с лица земли всю Францию?»

Оба они были великолепны в эту минуту: один противился бурному потоку фактов, словно древняя, поросшая мхом гранитная глыба, нависшая над альпийской пропастью, другой — созерцал бегущие воды с мыслью о том, как бы обратить их на пользу. Добрый и почтенный нотариус горько вздыхал, замечая, какие непоправимые разрушения производят аристократические предрассудки в нравственных принципах и слагающихся взглядах юного графа Виктюрньена д'Эгриньона.

Тетка его боготворила, отец боготворил, и молодой наследник был в полном смысле этого слова избалованным ребенком; впрочем, он давал основания для горделивых надежд и отца и матери, — ибо тетка была ему истинной матерью. Однако, какой бы нежной и предусмотрительной ни была девушка, ей всегда недостает особого, чисто материнского ясновидения, которое дается природой только родной матери. Тетка, связанная со своим питомцем такими чистейшими узами любви, какими мадемуазель Арманда была связана с Виктюрньеном, может обожать его не меньше, чем мать, может быть столь же внимательной, доброй, нежной, снисходительной; но в строгости ее не будет той бережности и того такта, которыми одарено сердце матери; у нее не будет внезапных предчувствий и смутных тревог, столь знакомых матери, у которой все еще трепещут, как струны, нервные и душевные связи, соединявшие ее с младенцем; мать на всю жизнь сохраняет неразрывную связь со своим ребенком, чувствует как бы толчок от каждого его страдания и трепет от каждой радости, словно это — события ее собственной жизни. Если с физической точки зрения природа и

создала в лице женщины как бы нейтральную почву для развития ребенка, то она не лишила ее способности в некоторых случаях вполне сливаться со своим созданием; когда материнство духовное сочетается с материнством физическим, мы видим то чудесное, скорее еще не объясненное, чем необъяснимое, явление, которое составляет сущность материнской любви. Катастрофа, описанная в этой повести, еще раз подтверждает общеизвестную истину: матери никто не заменит. Мать предвидит беду задолго до того, как девушка вроде мадемуазель Арманды в нее поверит, хотя бы эта беда уже пришла. Одна прозревает несчастье, другая пытается смягчить его последствия. Материнская привязанность у девушки — искусственна и обычно сопровождается слепым обожанием. Это мешало Арманде держать в должной строгости красивого мальчика.

Знание жизни и многолетний деловой опыт развили в старике нотариусе особую наблюдательность, полную прозорливой настороженности, которая походила на материнскую способность предчувствовать беду. Но он так мало значил в этом доме, особенно после того, как впал в немилость, дерзнув подумать о возможности брачного союза между девицей из рода д'Эгриньонов и каким-то дю Круазье, что решил впредь слепо подчиняться взглядам этой аристократической семьи. Он — лишь простой солдат, стоящий на своем посту и готовый, если понадобится, умереть, и к его мнению никто не прислушивается, даже в минуту самой грозной опасности; разве только он случайно окажется в положении королевского нищего из «Антиквария»^[14], которого судьба привела на берег моря в ту минуту, когда лорд и его дочь были застигнуты приливом.

Дю Круазье усмотрел возможность жестоко отомстить д'Эгриньонам, воспользовавшись нелепостями воспитания, полученного молодым графом. Он надеялся, по меткому выражению вышеупомянутого автора, утопить врага в ложке воды.

Эта надежда помогала ему хранить вид молчаливой покорности и вызывала на его губах злобную усмешку.

Едва граф Викторньен подрос настолько, что мог уже усваивать отвлеченные идеи, ему начали внушать мысль о его превосходстве над прочими людьми: за исключением короля он равен всем аристократам Франции. А все не принадлежащие к дворянству — существа низшей породы, с которыми он не имеет ничего общего, по отношению к ним у него нет никаких обязанностей; это — побежденные и попранные враги, и с ними ему незачем считаться, их мнения должны быть дворянину безразличны; они же обязаны его почитать. На свою беду, Викторньен зашел в этих взглядах слишком далеко, следуя той прямолинейной логике, которая обычно приводит подростков и юношей к крайним выводам как в добре, так и во зле. Его внешняя привлекательность также утверждала его в этих теориях. Ребенок редкой красоты, Викторньен превратился затем в молодого человека столь совершенного, что любой отец мог только мечтать о таком сыне. Среднего роста, но хорошо сложенный, он был стройным и даже несколько хрупким на вид, но на самом деле сильным юношей. Как и у всех д'Эгриньонов, у него были блестящие голубые глаза, красиво очерченный нос с горбинкой, безукоризненный овал лица и золотисто-белокурые волосы, удивительная белизна кожи, легкая и грациозная походка, изящные ноги и руки, тонкие длинные пальцы с слегка загнутыми вверх кончиками, тонкие запястья и щиколотки, — словом, та непринужденность движений и гармония всех линий, которая у людей, как и у лошадей, является признаком породы. Ловкий, проворный, охотник до всяких физических упражнений, он стрелял из пистолета без промаха, фехтовал, как шевалье Сен-Жорж, сидел на коне, как прирожденный наездник. Словом, всем своим внешним обликом Викторньен мог бы польстить тщеславию самых требовательных родителей, кстати сказать, справедливо оценивающих влияние, которое оказывает на людей красота. Будучи такой же привилегией, как и благородное происхождение, красота не может быть благоприобретена, она

всюду получает признание и нередко ценится больше, чем богатство и талант; ей достаточно предстать перед людьми, чтобы победить, и от нее требуют только, чтобы она существовала. Помимо этих двух великих преимуществ — знатности и красоты — судьба одарила Виктюрье́на д'Эгри́ньона пылким умом, удивительной способностью все усваивать и отличной памятью. Поэтому он был отлично образован и гораздо более сведущ, чем обычно бывают молодые провинциальные дворяне, которые в зрелые годы становятся страстными охотниками, курильщиками или просто весьма почтенными помещиками, развязно рассуждают о науке и литературе, об искусстве и поэзии и высокомерно третируют все проявления таланта, оскорбляющие их своим превосходством. Маркиз д'Эгри́ньон надеялся, что, благодаря блестящим природным данным Виктюрье́на и полученному им образованию, сбудутся его честолюбивые отцовские мечты: он уже видел сына маршалом Франции, если тот пожелает избрать военную карьеру, послом — если его привлечет дипломатия, министром — если ему понравится административная деятельность; все в государстве будет к его услугам. Маркиз тешил себя мыслью, что, не будь даже его сын д'Эгри́ньоном, он все равно создал бы себе положение, обладая столь блестящими качествами.

Счастлирое детство Виктюрье́на, его золотая юность никогда ни в чем не встречали отказа. Он был кумиром в доме, никто не смел противиться прихотям этого юного принца, который, естественно, и стал эгоистичным, как всякий принц, настойчивым, как самый необузданный средневековый кардинал, дерзким и заносчивым, — причем все окружающие восторгались этими пороками, ибо считали их неотъемлемыми качествами истинного аристократа.

Шевалье мог быть типичным представителем того доброго старого времени, когда захмелевшие мушкетеры бесчинствовали в парижских театрах, колотили ночных дозорных и судебных приставов, вытворяли, подобно пажам, сотни проказ и неизменно вызывали улыбку на устах короля, если только проказы были забавны. Этот бывший красавец и волокита, этот бывший герой уличных похждений немало способствовал печальной развязке нашего повествования. Галантный старик, который уже давно не находил ни в ком понимания, был счастлив встретить желторотого Фоблаза, напомнившего ему собственную молодость. Не смущаясь тем, что теперь настали иные времена, он заронил в сознание юного Виктюрье́на дерзкие софизмы энциклопедистов, рассказывал ему анекдоты, бывшие в ходу при Людовике XV, восхвалял нравы пятидесятих годов XVIII века, описывал оргии, происходившие в маленьких охотничьих домиках, безумства, совершавшиеся ради куртизанок, и ловкие проделки над кредиторами, — словом, развертывал перед юношей те картины нравов, которые послужили основой для комедий Данкура и сатир Бомарше. К сожалению, эта развращенность, прикрытая изысканной утонченностью, рядилась в одежды вольтерьянства. Если шевалье иногда заходил слишком далеко в своих рассказах, он сейчас же стремился сгладить впечатление ссылками на правила дружеской компании, которым дворянин обязан следовать. Но Виктюрье́н воспринимал из всех этих разглагольствований лишь то, что поощряло его страсти. Кроме того, он видел, что и отец смеется вместе с шевалье. Оба старика были уверены, что врожденная гордость д'Эгри́ньонов — достаточно надежная преграда, чтобы удержать юношу от всего недостойного; решительно никто в доме не допускал даже мысли, что отпрыск д'Эгри́ньонов способен совершить что-либо противное чести. Честь, этот великий принцип монархии, пустивший глубокие корни в сердцах всех членов рода д'Эгри́ньонов, озарял, подобно маяку, каждый их поступок, воодушевлял каждую мысль, — прекрасный принцип, который только и мог бы сохранить дворянство. «Д'Эгри́ньон не должен позволить себе того-то и того-то, ибо он носит имя, связующее будущее с прошлым», — эти слова служили своеобразным припевом, которым и старик маркиз, и мадемуазель Арманда, и Шенель, и завсегдатаи особняка

убаюкивали в детстве Виктюрье́на. Таким образом, в этой юной душе в одинаковой степени было заложено и добро и зло.

Когда Виктюрье́ну исполнилось восемнадцать лет, он начал бывать в местном обществе и вскоре почувствовал некоторое противоречие между внешним миром и замкнутым мирком обитателей отеля д'Эгриньон, однако не стал допытываться причин. Причины эти следовало искать в Париже. Молодой граф еще не знал, что люди, столь смелые в своих суждениях и столь решительно высказывающиеся в доме его отца, держатся весьма осмотрительно в присутствии врагов, общаться с которыми их вынуждают собственные интересы. Его отец завоевал себе право открыто высказывать свои мнения. Никому не приходило в голову спорить с семидесятилетним стариком, каждый охотно прощал лишившемуся всего человеку его приверженность к старому порядку.

Не понимая истинного положения вещей, Виктюрье́н повел себя так, что скоро восстановил против себя всю городскую буржуазию и мещанство. Во время охоты у него произошли неприятные осложнения, которые вследствие его запальчивости едва не привели к серьезному судебному процессу. Шенелю с трудом удалось замять дело с помощью денег; но старик так и не решился рассказать об этом маркизу. Маркиз был бы несказанно изумлен, если бы узнал, что его сын привлекается к ответственности за охоту на своих собственных землях, в собственных лесах и угодьях, в царствование одного из потомков Людовика Святого! Посвящать старика во все эти неприятности было бы слишком рискованно, говорил Шенель. Молодой граф разрешал себе в городе шалости и другого рода. Шевалье называл их «интрижками»; кончились они тем, что Шенелю пришлось дать приданое нескольким девицам, неосмотрительно поверившим легкомысленным обещаниям графа жениться; Виктюрье́ну угрожали также процессы по обвинению в соращении несовершеннолетних; а эти процессы при тех строгостях, какие пошли в нынешнем суде, могли бы, без своевременного вмешательства Шенеля, кончиться для молодого графа весьма и весьма печально. Однако «победы» над буржуазным правосудием придавали Виктюрье́ну все больше храбрости. Привыкнув всегда выходить сухим из воды, он уже не знал удержу в своих проказах, так как считал, что суды страшны для простолюдинов, но не для него. То, что молодой граф строго порицал у людей простого звания, то для себя он считал вполне дозволенным развлечением. Его поступки, склад характера, склонность презирать новые законы и подчиняться только нормам аристократического кодекса — все это было тщательно изучено, прослежено, проверено несколькими ловкими пронырами из числа приверженцев дю Круазье. Воспользовавшись этим, они старались уверить народ, что клеветнические измышления либералов — подлинные разоблачения и что в основе правительственной политики лежит стремление возродить старый режим во всей его полноте; и до чего же они были довольны, что обрели хотя бы косвенные доказательства для своих утверждений! Председатель суда дю Ронсере, как и королевский прокурор, охотно соглашался на все поправки, не противоречившие его служебным обязанностям; он даже умышленно шел на них, чтобы дать либералам повод кричать о его слишком большой снисходительности к дворянам. Таким путем он под видом услуг разжигал ненависть к семейству д'Эгриньонов. Этот мерзкий интриган лелеял мысль показать свою неподкупность в ту минуту, когда у него в руках окажутся серьезные улики и ему можно будет рассчитывать на сочувствие общественного мнения. Дурные наклонности молодого графа коварно поддерживали двое-трое молодых людей, входивших в его свиту; они завоевали его расположение своим раболепством; они льстили ему, преклонялись перед его суждениями, всячески поддерживали в нем веру в главенствующую роль дворянства — и это в такую пору, когда дворяне могли сохранить свое влияние лишь при условии упорной, по меньшей мере полувековой осторожности. Дю Круазье надеялся, что попустительство д'Эгриньонов в отношении губительных сумасбродств молодого повесы

доведет семью до полной нищеты, что их замок будет разорен, а земли распроданы по частям с торгов. Дальше этого он не шел в своих мечтах; он не верил, подобно председателю суда дю Ронсере, что Виктюрье как-нибудь иным путем попадет в руки правосудия. Мстительным планам этих двух людей весьма способствовали чрезмерное самолюбие Виктюрье и постоянная его погоня за наслаждениями. Сын председателя дю Ронсере, семнадцатилетний юноша, один из собутыльников графа и наиболее коварный льстец, особенно успешно выполнял роль подстрекателя. Дю Круазье оплачивал этого добровольного шпиона и весьма ловко наставлял его в деле совращения высокородного и красивого юноши; посмеиваясь, он учил его разжигать дурные наклонности своей жертвы. А Фабиену дю Ронсере, который был от природы завистлив, остроумен и имел склонность к софистике, даже нравилась эта игра. Она доставляла ему те утонченные развлечения, которых так не хватает умным людям в провинции.

Между восемнадцатью и двадцатью одним годом Виктюрье стоил бедному нотариусу около восьмидесяти тысяч франков, причем ни мадемуазель Арманда, ни маркиз ничего не подозревали. Больше половины этих денег было истрачено на прекращение судебных дел, угрожавших графу, остальные ушли на всякие излишества молодого повесы. Из десяти тысяч франков, составлявших годовой доход маркиза, пять тысяч поглощали расходы по дому; на содержание маркиза и мадемуазель Арманды, несмотря на всю ее бережливость, уходило свыше двух тысяч франков; так что пенсия будущего наследника не превышала ста луидоров. А что такое две тысячи франков для того, кто должен бывать в свете и одеваться хотя бы прилично? Да один гардероб поглощал всю эту сумму! Виктюрье выписывал себе белье, платье, перчатки и духи из Парижа. Он пожелал иметь хорошую верховую английскую лошадь и лошадь для тильбюри. Ведь ездил же господин дю Круазье верхом на английской лошади и имел, кроме того, тильбюри. Так неужели допустимо, чтобы буржуазия затмила аристократию? Затем молодой граф потребовал себе грума, который носил бы ливрею с фамильным гербом д'Эгриньонов. Польщенный тем, что задает тон всему городу и департаменту, всей молодежи, Виктюрье вступил на путь прихотей и роскоши, которые так пристали красивым и остроумным молодым людям. А Шенель все это оплачивал, пользуясь, правда, как старинные парламенты, своим правом увещания, но делал он это с ангельской кротостью.

«Как жаль, что этот добряк так надоедлив!» — думал Виктюрье всякий раз, когда нотариус затыкал некоторой суммой денег зияющую дыру в его бюджете.

Будучи вдов и бездетен, Шенель в глубине души как бы усыновил Виктюрье. Он радовался, видя, как сын его бывшего хозяина проезжает по главной улице города, покачиваясь на высоком сиденье своего тильбюри, с длинным хлыстом в руке и розой в петлице, красивый, нарядный, вызывающий всеобщую зависть. Когда Виктюрье спешно нужны были деньги — после проигрыша у Труавилей, у герцога де Верней, у префекта или у главного управляющего окладными сборами — и он являлся в скромный домик на улице Беркай к старику нотариусу, который был для него провидением, то тихий голос юноши, его беспокойный взгляд и вкрадчивые движения так действовали на старика, что граф, едва войдя, тотчас получал желаемое.

— Ну, что с вами? Что случилось? — спрашивал Шенель взволнованным голосом.

В особо важных случаях Виктюрье усаживался, принимал вид меланхолический и задумчивый, жеманясь, предоставлял Шенелю вытягивать из него каждое слово. Заставив добряка испытать самую жестокую тревогу, ибо тот уже начинал опасаться грозных последствий столь безудержного мотовства, он наконец признавался в каком-нибудь грешке, который можно было прикрыть ассигнацией в тысячу франков. Шенель, помимо нотариальной конторы, имел около двенадцати тысяч франков годового дохода. Из этого фонда нельзя было черпать бесконечно. Восемьдесят тысяч франков, которые пошли прахом ради Виктюрье, составляли

сбережения старика, отложенные им на то время, когда маркиз соберется отправить сына в Париж, или чтобы способствовать удачной женитьбе молодого графа. В отсутствие Виктюрье Шенель обретал свою обычную трезвость и прозорливость и постепенно расставался с теми иллюзиями, которыми еще тешили себя маркиз и его сестра. Убедившись, что юноша совершенно не способен вести себя достойно, Шенель горячо желал поскорее женить его на какой-нибудь благонравной и благоразумной девице из дворянской семьи. Видя, что Виктюрье делает наутро противоположное тому, что обещал накануне, Шенель недоумевал, как может юноша с таким благородным образом мыслей столь дурно вести себя. Впрочем, чего ждать от молодых людей, которые охотно признаются в своих ошибках, даже раскаиваются в них и тут же опять их повторяют. Люди с сильным характером каются в своих грехах лишь перед самими собой и сами себя карают. Что же касается слабовольных, они идут проторенной дорожкой, им слишком трудно с нее свернуть. Виктюрье, в котором воспитатели, друзья и уже вкоренившиеся привычки ослабили силу скрытой гордости, побуждающей людей к великим деяниям, оказался во власти того безволия, каким страдают сластолюбцы; это случилось в ту пору его жизни, когда его воля, чтобы окрепнуть, нуждалась в суровых испытаниях и в борьбе с превратностями судьбы, создавших такие характеры, как принц Евгений, Фридрих II и Наполеон.

Шенель замечал в Виктюрье ту неукротимую, бешеную жажду наслаждений, которая естественна у людей больших дарований и рождается из потребности возместить удовольствиями затраты напряженной умственной энергии, но тех, кто предается одному лишь сладострастию, неудержимо влечет в пропасть. И старика временами охватывал ужас; но затем, вспоминая о прекрасных порывах и широком уме, делавших юношу столь примечательным, Шенель снова успокаивался. Он говорил себе то же, что говорил маркиз, когда до него доходили слухи о шалостях Виктюрье: «Молодежи нужно перебеситься».

Когда Шенель жаловался шевалье на склонность молодого графа постоянно делать долги, тот выслушивал его с насмешливым видом, растирая между пальцами понюшку табаку.

— Объясните мне, пожалуйста, милейший Шенель, что такое государственный долг? — спрашивал он в ответ. — А ежели Франция имеет долги, то почему же, черт побери, их не имеет Виктюрье? Ныне, как и во все времена, принцы делают долги, все аристократы делают долги. Может быть, вы хотели бы, чтобы мальчик скаредничал? Вы знаете, как поступил наш великий Ришелье, — не кардинал, тот был негодяй, он жаждал погубить знать, а маршал Ришелье? Знаете, что он сказал, когда его внук, принц де Шинон, последний из рода Ришелье, признался ему, что, находясь в университете, не истратил своих карманных денег?

— Нет, господин шевалье, не знаю.

— Так вот: он выбросил кошелек в окно метельщику и сказал внуку: «Тебя, значит, не научили быть принцем?»

Шенель молча опустил голову. А вечером, засыпая, честный старик подумал, что в нынешние времена, когда исправительная полиция существует для всех, подобные теории ужасны. Он видел в них зародыш грядущей гибели славного рода д'Эгриньонов.

Без этих пояснений, рисующих одну из сторон провинциальной жизни во времена Империи и Реставрации, трудно было бы понять ту сцену, с которой и начинается наше повествование; она произошла в конце октября 1822 года в Музее древностей однажды вечером, после игры в карты, когда высокородные посетители отеля, старые графини, молодые маркизы и баронессы произвели подсчеты выигрышей и проигрышей и удалились. Старик маркиз прохаживался по гостиной, а мадемуазель д'Эгриньон сама тушила свечи на карточных столах; маркиз был не один, а в обществе шевалье. Эти два обломка прошлого века говорили о Виктюрье. Шевалье собирался открыть маркизу глаза на поведение его сына.

— Да, маркиз, — говорил шевалье, — ваш сын только даром тратит здесь свое время и свою молодость. Вы должны наконец послать его в Париж.

— Я всегда полагал, что если мой преклонный возраст помешает мне самому явиться ко двору, где, говоря между нами, я даже не знаю, что мне делать в наше время и среди новых людей, окружающих короля, — я, по крайней мере, пошлю к королю своего сына, который засвидетельствует его величеству нашу преданность. Король должен что-нибудь сделать для графа д'Эгриньона: дать ему, скажем, полк, или должность при дворе, или, наконец, предоставить ему возможность отличиться. Мой дядя архиепископ претерпел жестокие муки, я отменно воевал и ни разу не покинул поля боя, в отличие от тех, кто счел своим долгом последовать за принцами; по моему мнению, король оставался во Франции, и знать должна была оставаться здесь. И что же! Теперь никто даже не вспоминает о нас, тогда как Генрих Четвертый, наверно, уже написал бы д'Эгриньонам: «Приезжайте, друзья мои! Мы победили!» Мы, пожалуй, стоим побольше Тревилей, а между тем два Тревиля уже сделаны пэрами Франции, еще один Тревиль попал в депутаты от дворянства — (маркиз принимал избирательные коллегии за собрания представителей его сословия). Право же, о нас больше не думают, как будто бы мы уже не существуем! Я все ждал, что принцы, путешествуя, проедут через наш город. Но раз они не едут к нам, придется ехать к ним.

— Я в восторге от того, что вы намерены ввести в свет нашего дорогого Виктюрньена, — ловко ввернул шевалье. — Наш город — просто дыра, и юноше грешно зарывать здесь свои таланты. Самое большее, на что он может рассчитывать, — это встретить какую-нибудь нормандку, достаточно глупую, невежественную и богатую. Но что ему с ней делать? Жениться? О, творец!

— Я твердо надеюсь, что он женится не ранее, чем получит достойную его должность в королевстве или при дворе, — сказал маркиз. — Однако имеется серьезное препятствие...

Вот каково было единственное препятствие, которое, по мнению маркиза, мешало Виктюрньену начать блестящую карьеру:

— Мой сын, — со вздохом продолжал он после паузы, — граф д'Эгриньон, не может явиться ко двору как нищий, его следует снабдить всем необходимым. Увы! У нас уже нет, как два века назад, своей свиты из дворян. Ах, шевалье! Верите ли, несмотря на то, что все разрушено до основания, мне кажется, будто только вчера господин де Мирабо нанес дворянству свой сокрушительный удар! Нынче важно лишь одно — иметь деньги; вот, по-моему, единственное благодеяние, которым мы обязаны Реставрации. Королю нет дела то того, ведете ли вы свой род от Валуа или от завоевателей Галлии, ему важнее знать, платите ли вы налог в тысячу франков. Поэтому я не могу послать графа ко двору, не дав ему с собой хотя бы тысяч двадцать экю.

— Да этой безделицы вполне достанет, чтобы он появился там с блеском, достойным его имени, — заметил шевалье.

— Так вот, — сказала мадемуазель Арманда, — я просила Шенеля прийти сегодня вечером. Верите ли, — обратилась она к шевалье, — с того самого дня, когда Шенель предложил мне выйти замуж за какого-то ничтожного дю Круазье...

— О мадемуазель, это было возмутительно!.. — воскликнул шевалье.

— Непростительно! — добавил маркиз.

— Так вот, — продолжала мадемуазель Арманда, — мой брат не мог с тех пор превозмочь себя и не обращался к Шенелю ни с одной просьбой.

— К вашему бывшему слуге? — подхватил шевалье. — Да вы бы, маркиз, оказали этим Шенелю только честь, такую честь, которой он гордился бы до конца своей жизни.

— Нет, — отвечал маркиз, — я считаю это ниже своего достоинства.

— Речь идет не о достоинстве; это необходимость, — продолжал шевалье, слегка выпрямившись.

— Никогда! — воскликнул маркиз с таким надменным жестом, что шевалье решил открыть всю правду своему старому другу.

— Ну, хорошо, — начал он, — ежели вы не знаете, то позвольте мне сказать вам, что Шенель уже дал вашему сыну что-то около...

— Мой сын не способен принять что бы то ни было от Шенеля, — воскликнул маркиз, гордо выпрямляясь и прерывая шевалье. — У вас, допускаю, он мог попросить двадцать пять луидоров.

— Что-то около ста тысяч ливров, — невозмутимо продолжал шевалье.

— Как! Граф д'Эгриньон должен сто тысяч ливров какому-то Шенелю? — с глубокой болью воскликнул старик. — Ах! не будь он моим единственным сыном, я сегодня же вечером отправил бы его капитаном служить в колонии. Задолжать ростовщикам, которым платишь огромные проценты, это я еще допускаю, но зависеть от Шенеля, от человека, к которому я привязан!..

— Да, дорогой маркиз, наш очаровательный Виктюрньен промотал сто тысяч ливров, — повторил шевалье, стряхивая табачные крошки со своего жилета. — Это, конечно, немного. В его годы я... Впрочем, оставим в покое наши былые воспоминания. Граф живет в провинции, и для такого города, как наш, это уже недурно, он далеко пойдет; я вижу в нем ту беспорядочность, которой наделены люди, совершающие впоследствии великие деяния...

— И он спокойно спит там, наверху, ничего не сказав отцу! — воскликнул маркиз.

— Он спит невинным сном младенца, ведь он успел пока сделать несчастными лишь пять-шесть мешаночек, а теперь ему уже нужны герцогини, — отозвался шевалье.

— Но ведь он может навлечь на себя королевский приказ о заточении без суда!

— *Они* отменили эти приказы, — сказал шевалье. — Вы помните, какой поднялся крик при попытке ввести чрезвычайные суды? Нам даже не удалось сохранить военные суды, которые господин де Буонапарте называл «военными комиссиями».

— А что же нам делать, если наши сыновья окажутся безумцами или негодьями? Мы уже не можем посадить их под замок? — спросил маркиз.

Шевалье посмотрел на этого отца, доведенного до отчаяния, и не посмел ему ответить: «Мы будем вынуждены их лучше воспитывать...»

— И вы всё скрыли от меня, мадемуазель д'Эгриньон! — продолжал маркиз, обратившись к сестре.

В словах маркиза все еще сказывалось раздражение: обычно он звал ее «сестрица».

— Но, сударь, если молодой человек, живой и пылкий, обречен на праздность в таком городе, как наш, что же ему остается делать? — отозвалась мадемуазель д'Эгриньон, не понимавшая, отчего брат ее так разгневан.

— Долги, черт побери! — подхватил шевалье. — Ведь он играет в карты, заводит амур, охотится, а все это в наши дни стоит недешево.

— Ничего не поделаешь, пора его отправить ко двору, — сказал маркиз. — Завтра же я посвящу этому утро и напишу нашим родственникам.

— Я немного знаком с герцогами де Наваррен, де Ленонкур, де Мофриньез и де Шолье, — сказал шевалье, хотя отлично знал, что эти герцоги его давным-давно забыли.

— Мой милый шевалье, чтобы представить д'Эгриньона ко двору, вовсе не нужно столько церемоний, — прервал его маркиз. «Сто тысяч ливров! — подумал он. — Этот Шенель довольно смел. Вот плоды проклятой Смуты! «Господин» Шенель осмеливается оказывать покровительство моему сыну! Надо будет все-таки его спросить... Впрочем, нет, это сделает моя

сестрица. Пусть Шенель возьмет в залог наши поместья. Затем надо задать хорошую головомойку этому молодому повесе, — ведь кончится тем, что он разорится».

Шевалье и мадемуазель д'Эгриньон нашли вполне естественной уверенность маркиза, которая всякому другому показалась бы смешной. Больше того, они были глубоко тронуты почти страдальческим выражением, появившимся на лице старика. В эту минуту маркиз д'Эгриньон был во власти каких-то зловещих предчувствий, он впервые почти постигал свою эпоху. Он опустил в глубокое кресло у камина, позабыв о Шенеле, который должен был прийти и которого он не хотел ни о чем просить.

В те времена облик маркиза вполне удовлетворил бы людей с поэтическим воображением: на его сильно полысевшей голове серебрились остатки шелковистых волос, ниспадавших с затылка седыми прядями, завивавшимися на концах. Его благородный аристократический лоб, похожий на прекрасный лоб Людовика XV, Бомарше и маршала Ришелье, ничем не напоминал ни массивного квадратного лба маршала Саксонского, ни сжатого, жесткого и слишком выпуклого лба Вольтера: он имел изящную форму и переходил в мягко очерченные желтоватые виски. Глаза маркиза сверкали той горячностью и отвагой, над которыми возраст не имеет власти. У него был нос принцев Конде и приветливый рот Бурбонов, способный, по выражению графа д'Артуа, произносить лишь слова, полные ума и доброты. Его щеки, скорее впалые, чем округленные, гармонировали с сухощавым, еще стройным станом и породистыми руками. Шея была стянута галстуком, повязанным так, как бывают повязаны галстуки у маркизов на гравюрах, украшающих сочинения прошлого века, и какие вы можете увидеть на Сен-Пре^[15] и Ловласе^[16], на героях мещанина Дидро или изящного Монтескье (смотри первые издания их сочинений). Маркиз неизменно носил парадный белый, шитый золотом жилет, на котором блестела командорская лента ордена Святого Людовика, синий сюртук с длинными загнутыми полами, украшенными лилиями, — своеобразный костюм, принятый королем; но маркиз не отказался ни от коротких французских панталон, ни от белых шелковых чулок, ни от парика с буклями и ежедневно в шесть часов вечера читал только «Котидьен» и «Газетт де Франс», две газеты, которые конституционная пресса обвиняла в мракобесии и тысяче чудовищных монархических и религиозных крайностей, а маркиз считал, что они полны еретических и революционных идей; какие бы крайние взгляды ни высказывали печатные органы, они всегда умереннее наиболее рьяных представителей своей партии. Автора, живописующего этот великолепный персонаж, наверное, будут обвинять в том, что он нарушил истину, тогда как он, наоборот, смягчил наиболее резкие тона и затушевал слишком яркие черты оригинала.

Маркиз д'Эгриньон оперся локтями о колени и обхватил руками голову. Все время, пока он предавался горестным размышлениям, мадемуазель Арманда и шевалье молча переглядывались. Мучила ли маркиза мысль о том, что он обязан будущностью сына своему бывшему управляющему? Сомневался ли он в том, что молодому графу будет оказан должный прием при дворе? Сожалел ли о том, что не сумел подготовить появление Виктюрье в блестящих придворных кругах, безвыездно просидев все эти годы в провинциальной глуши, где его удерживала бедность, мешавшая ему самому появиться при дворе? Маркиз тяжело вздохнул и поднял голову.

Так вздыхали в те годы многие представители истинной и верной престолу аристократии, того провинциального дворянства, которое находилось в пренебрежении, а также многие из тех, кто со шпагой в руке противостоял в свое время шквалу революции.

— А что было сделано для таких людей, как дю Геник, Фердинанд, как Фонтэн или брат Монторана, которые до конца не покорились? — прошептал он. — Тем, кто сражался мужественнее всех, швырнули подачку — какую-то жалкую пенсию или должность коменданта в пограничной крепости! Или еще того лучше: дали бюро лотереи графине де Бован, чья энергия

вдохновляла и поддерживала Шаретта и де Монторана.

Было очевидно, что вера маркиза в королевскую власть поколеблена. Мадемуазель д'Эгриньон всячески пыталась успокоить брата относительно предстоящего путешествия Виктюрньена; как раз в это время под самыми окнами гостиной на сухой мостовой послышались шаги Шенеля, и вскоре в дверях, распахнутых старым камердинером маркиза Жозефеном, без доклада показался Шенель.

— Шенель, мой мальчик...

Нотариусу было шестьдесят девять лет. У него была убеленная сединами голова и широкое, благообразное лицо. Он носил панталоны столь необъятной ширины, что они удостоились бы у Стерна эпического описания; чулки на нем были шерстяные, на башмаках поблескивали серебряные пряжки, сюртук напоминал сутану священника, а длинный жилет — жилет школьного учителя.

— ...Ты поступил весьма самонадеянно, ссудив деньгами графа д'Эгриньона! — продолжал маркиз. — И ты вполне заслужил, чтобы я тебе их немедленно вернул и больше тебя на глаза к себе не пускал, ибо ты этим только поощрил его пороки!

Наступило минутное молчание, какое воцаряется обычно, когда король при всех распекает придворного. Старик нотариус стоял перед маркизом с сокрушенным и смиренным видом.

— Виктюрньен сильно тревожит меня, Шенель, — продолжал уже мягче маркиз. — Я хочу отослать его в Париж, чтобы он послужил королю. Ты сговоришься с моей сестрой, как сделать, чтобы он появился там, как подобает д'Эгриньону. Мы сочтемся...

Маркиз величественно удалился, снисходительно кивнув Шенелю.

— Благодарю, господин маркиз, за милость, — сказал старик, все еще не решаясь сесть.

Мадемуазель Арманда встала, чтобы проститься с братом; она уже успела позвонить, в дверях стоял слуга со свечой и ожидал маркиза, чтобы проводить его в спальню.

— Садитесь, Шенель, — сказала старая девица, возвращаясь.

С присущей женщинам деликатностью мадемуазель Арманда сумела смягчить суровость обращения маркиза с бывшим управляющим; Шенель, правда, угадывал за этой суровостью подлинную привязанность. Эта привязанность, которую маркиз испытывал к своему бывшему слуге, сильно напоминала, однако, любовь хозяина к собаке, — готовый подраться со всяким, кто посмеет дать пинка его псу, он рассматривает это животное как неотъемлемую часть своего существа, которая, не будучи вполне тождественна с ним, представляет самое дорогое в нем — его чувства.

— Графу в самом деле пора уезжать из этого города, — наставительно произнес нотариус.

— Да, — согласилась мадемуазель Арманда. — А что, он позволил себе какую-нибудь новую шалость?

— Нет, мадемуазель.

— Ну так в чем же вы его обвиняете?

— Я его не обвиняю, мадемуазель. Нет, не обвиняю. Я далек от каких бы то ни было обвинений. И никогда не буду обвинять, что бы он ни сделал!

Разговор оборвался. Шевалье, как человек догадливый, начал усиленно позевывать, делая вид, что его клонит ко сну. Затем вежливо извинился и вышел из гостиной, хотя ему хотелось спать не больше, чем утопиться. Демон любопытства сделал взгляд шевалье особенно зорким и осторожной рукой вытащил из его ушей вату, которой старик обычно затыкал их.

— Ну, Шенель, у вас есть какие-то новости? — тревожно спросила мадемуазель Арманда.

— Да, — ответил Шенель, — но этих вещей нельзя открывать маркизу: его тут же может разбить паралич.

— Говорите же, — промолвила она, откинув прекрасную голову на спинку кресла и

бессильно опустив руки, как человек, приготовившийся безропотно принять смертельный удар.

— Мадемуазель, несмотря на весь свой ум, молодой граф стал игрушкой в руках негодных людишек, неистово жаждущих мщения: им хотелось бы нас разорить и унижить! Этот господин дю Ронсере, председатель суда, претендует, как вам известно, на принадлежность к высшей знати...

— Его дед был всего-навсего стряпчим, — заметила мадемуазель Арманда.

— Я знаю, — отвечал нотариус. — Поэтому-то его у вас и не принимают; он не бывает ни у Труавилей, ни у герцога де Верней, ни у маркиза де Катерана; но он — один из столпов салона дю Круазье. Фабиен дю Ронсере, с которым ваш племянник может обращаться, не слишком себя роняя (ведь нужны же ему товарищи), — так вот, этот молодой человек — главный советчик графа и толкает его на всякие сумасбродства, он и еще двое-трое других, принадлежащих к стану вашего врага, врага господина шевалье, к партии того, кто полон ненависти к вам и ко всему дворянству. Все они надеются разорить вас с помощью вашего племянника и увидеть, как он себя опозорит. Заговором руководит этот мошенник, этот плут дю Круазье, который прикидывается роялистом. Его бедная жена — вы с ней знакомы — ни о чем не подозревает; я узнал бы все гораздо раньше, если бы она была способна предвидеть зло! В течение некоторого времени, пока эти молодые ветрогоны еще не были посвящены в тайну, никто ничего не знал. Но понемногу зачинщики дошутились до того, что выдали себя, и даже дураки поняли, в чем дело; после недавних шалостей графа они в пьяном виде кое о чем проболтались. А мне их слова передали люди, которым больно видеть, как столь красивый, обаятельный и знатный юноша губит себя в погоне за наслаждениями; сейчас его еще жалеют, через несколько дней... его... Я не смею выговорить.

— Его будут презирать, да? Скажите, скажите, Шенель! — горестно воскликнула мадемуазель Арманда.

— Увы! Разве можно помешать даже порядочным обитателям нашего города, которые с утра до вечера не знают, чем занять себя, совать нос в дела своих ближних? Уже точно подсчитано, сколько граф проиграл в карты; оказывается, за два месяца он спустил тридцать тысяч франков; и, конечно, каждый спрашивает себя, где он достает деньги. Когда кто-нибудь об этом болтает при мне, я сейчас же ставлю его на место! Но... Неужели вы думаете, говорил я им еще нынче утром, что если у семейства д'Эгриньонов отняли право взимать подати в их поместьях, то посягнули при этом и на их драгоценности? Молодой граф имеет право вести себя, как ему угодно; и пока он ничего вам не должен, извольте молчать.

Мадемуазель Арманда протянула руку, которую нотариус почтительно поцеловал.

— Добрый Шенель!.. Друг мой, где вы достанете нам денег на это путешествие? Ведь Виктюрье ну нельзя явиться ко двору, если он не сможет жить так, как того требует его звание!

— О мадемуазель! Я уже занял денег под свое имя Жард.

— Как? У вас больше ничего нет? Боже мой, — воскликнула она, — чем мы отблагодарим вас?

— Приняв от меня сто тысяч франков, которые я берегу для вас. Вы понимаете, что переговоры об этом займе пришлось вести тайно, чтобы не подорвать уважения к вам. Ведь в глазах города я тоже член семьи д'Эгриньонов.

На глазах мадемуазель Арманда выступили слезы. Шенель, заметив их, благоговейно коснулся губами края ее пелеринки.

— Ничего, все обойдется, — продолжал он, — молодым людям нужно перебеситься. Посещение парижских салонов изменит образ мыслей молодого графа. А ведь здесь... право же, хотя ваши старинные друзья — благороднейшие и достойнейшие люди, с ними не слишком весело. Чтобы развлечься, молодой граф вынужден водить знакомство с низшими и еще

вздумает, чего доброго, якшаться со всяким сбродом.

На другой день из сарая выкатили старую дорожную карету д'Эгриньонов, и шорник начал приводить ее в порядок. После завтрака отец торжественно сообщил молодому графу о принятых на его счет решениях: он должен явиться ко двору и попросить у короля какой-нибудь должности. По пути пусть решит, какую карьеру желает избрать: флот и сухопутные войска, министерства и посольства, служба при дворе, — все ему будет доступно. Король, конечно, оценит поведение д'Эгриньонов, которые, желая сохранить милости двора для наследника их рода, до сих пор никогда ни о чем не просили.

За время своих сумасбродств молодой д'Эгриньон составил себе некоторое понятие о нравах и обычаях парижского высшего света и начал разбираться в реальной жизни. Но, так как ему предстояло покинуть эту глушь и расстаться с родительским кровом, он внимательно выслушал напутствие своего почтенного отца и не сказал ему в ответ, что ныне поступают во флот и в армию уже не так, как прежде; что получить чин младшего лейтенанта в кавалерии можно, лишь окончив специальную военную школу или прослужив сначала в пажах; что сыновья наиболее знатных семей поступают в Сен-Сир и Политехническую школу совершенно так же, как и сыновья разночинцев, после предварительных конкурсных испытаний, причем дворянин рискует тем, что его обгонит какой-нибудь разночинец.

Расскажи Виктюрье все это маркизу, он мог бы не получить нужных денег на жизнь в Париже: поэтому молодой граф не стал разубеждать отца и тетку: пусть воображают, что он непременно будет разъезжать в королевской карете, поддерживать блистательный престиж рода д'Эгриньонов, в который они верят до сих пор, и водить знакомство лишь с самыми знатными аристократами. Маркиз, глубоко опечаленный тем, что может дать сыну лишь одного слугу, предложил ему своего старого камердинера Жозефена, верного человека, который будет заботиться о нем; расставаясь с Жозефеном, маркиз надеялся впоследствии заменить его молодым слугой.

— Помните, сын мой, — сказал он молодому графу, — что вы — Кароль, что в ваших жилах течет чистейшая дворянская кровь, без всякой недостойной примеси, что на вашем гербе стоит девиз «*Cil est nostre*» — и это дает вам право повсюду высоко держать голову и домогаться даже руки королевы. Благодарите же за это вашего отца, как я благодарил своего. Наши предки свято блюли честь рода, и поэтому ныне мы можем смело глядеть всем в глаза и преклоняем колена лишь перед возлюбленной, пред королем и пред богом. Вот величайшая из ваших привилегий.

Добрый Шенель, присутствовавший за завтраком, не вмешивался ни в эти геральдические воспоминания, ни в послания к могущественным особам, но он просидел всю ночь над письмом к своему близкому другу, одному из старейших парижских нотариусов. Подлинно отцовские чувства Шенеля к Виктюрье остались бы непонятными, если бы мы не привели этого письма, которое можно сравнить с наставлениями Дедала Икару^[17]. Именно в мифологии приходится искать сравнений, достойных поистине античных доблестей этого человека.

«Дорогой и высокочтимый Сорбье!

Я с умилением вспоминаю о том, что обучался нашей почтенной профессии у твоего отца и что ты тогда полюбил меня, бедного, незаметного клерка. И вот, во имя этих воспоминаний о сладостных годах нашего ученичества, я обращаюсь к тебе с просьбой об услуге — первой и последней за всю нашу долголетнюю жизнь, сотрясаемую политическими бурями, которым я, быть может, обязан тем, что сделался твоим коллегой. Об этой услуге я прошу тебя, мой друг, вероятно, стоя уже одной ногой в могиле, прошу, ради моих седых волос, которые иначе выпадут от горя, —

внемли моим мольбам! Друг мой Сорбье! Речь идет не обо мне и не о моих родных! Супругу свою, госпожу Шенель, я потерял, детей у меня нет. Увы! Речь идет о большем, чем моя семья, если бы я имел ее; речь идет о единственном сыне маркиза д'Эгриньона, чьим управляющим я имел честь состоять по окончании моего обучения в нотариальной конторе, куда меня определил его отец, за свой собственный счет, в намерении сделать из меня человека. На эту семью, вскормившую меня, обрушились все бедствия революции. Мне удалось спасти кое-что из их достояния, но что это в сравнении с утраченным великолепием! Сорбье, никакое красноречие не могло бы выразить, насколько я привязан к этому высокородному семейству, которое на моих глазах едва не поглотила пучина времен: изгнание, конфискация имущества, бездетная старость! Сколько бедствий! Затем господин маркиз женился, его жена умерла родами, подарив семье наследника, и ныне из всех членов дорогого мне семейства полон жизни только этот прекрасный, благородный и драгоценный ее отпрыск. Все будущее славного рода — в руках этого юноши, который, развлекаясь, наделал кое-каких долгов. И в самом деле, как жить в провинции на жалкую сотню луидоров? Да, друг мой, сто луидоров — вот к чему пришел великий род д'Эгриньонов! В этих обстоятельствах отец молодого графа счел необходимым послать его в Париж ко двору, чтобы просить покровительства у короля. Но Париж — это поистине вертеп, опасный для молодежи. Нужно обладать здравым смыслом нотариуса, чтобы жить там в границах умеренности. Я был бы, впрочем, в отчаянии, если бы бедный мальчик познал лишения, испытанные нами. Помнишь ли ты, с каким удовольствием мы однажды поделили маленький хлебец, сидя в задних рядах партера Французской комедии, когда мы потратили чуть не сутки, чтобы попасть на «Женитьбу Фигаро»? До чего же мы были слепы! Невзирая на бедность, мы чувствовали себя счастливыми! Но может ли дворянин быть счастлив в нищете? Нищенская жизнь для дворянина — вещь противоестественная. Ах, Сорбье! Если человек имел счастье собственной рукой приостановить падение пышного генеалогического древа — одного из самых славных в королевстве, — то он, разумеется, к нему привязывается, любит его, лелеет, жаждет снова увидеть его в цвету. Поэтому ты не будешь удивляться тем предосторожностям, которые я предпринимаю, как и тому, что я прибегнул к твоей просвещенной помощи для блага нашего молодого человека. Д'Эгриньоны ассигновали сто тысяч франков на поездку молодого графа в Париж. Ты увидишь его и убедишься, что во всем Париже не найдется юноши, который мог бы сравниться с ним! Прими же в нем участие, как будто это твой собственный и единственный сын. Наконец, я уверен, что госпожа Сорбье не откажется помочь тебе в той моральной опеке, которую я на тебя возлагаю. Содержание, назначенное графу Виктюрье, составляет две тысячи франков в месяц; но ты начнешь с того, что вручишь ему десять тысяч франков на первые расходы. Итак, семья обеспечила графу два года жизни в Париже; в случае его поездки за границу мы изыщем дополнительные средства. Прими участие в этом деле, мой старый друг. Не спеши раскрывать перед юношей кошелек и, не докучая нравоучениями, представляй убедительные доводы, удерживая его, сколь можно, от мотовства, и постарайся, чтобы он не забирал деньги за месяц вперед без особо важных к тому причин; однако не доводи юношу до отчаяния, ежели будет затронута его честь. Наблюдай за его поведением, за тем, как он проводит свое время, где бывает. Следи за его связями. Шевалье сказал мне, что танцовщица из Оперы нередко обходится дешевле придворной дамы. Наведи справки и отпиши мне. Если ты очень занят, не будет ли госпожа Сорбье так добра присмотреть за молодым графом? Пусть

проведает, где он бывает. Быть может, она рада будет стать ангелом-хранителем столь прелестного и знатного юноши? Бог воздаст ей за это сторицей. Быть может, сердце у нее содрогнется, когда ей станет известно, как велики опасности, подстерегающие в Париже молодого графа Виктюрньена; ведь вы увидите его: он столь же прекрасен, сколь молод, и столь же умен, сколь доверчив. Если он сблизится с какой-нибудь дурной женщиной, госпожа Сорбье сумеет лучше, чем ты, предостеречь его от грозящих ему бед. Графа сопровождает старый слуга, у которого ты многое можешь узнать. Порасспроси хорошенько Жозефена, я приказал ему советоваться с тобою во всех затруднительных обстоятельствах. Но зачем я все это тебе говорю? Разве мы сами не были молоды, не шалили? Так вспомни же наши проказы и призови на помощь свою юность, старый друг! Один господин, проживающий в нашем городе, едет в Париж, он вручит тебе переводный вексель на казначейство в сумме шестидесяти тысяч франков. Прими и т. д.»

Если бы супруги Сорбье последовали наставлениям Шенеля, им, наверное, пришлось бы держать трех сыщиков, чтобы следить за графом д'Эгриньоном. Но надо признать, что Шенель в выборе казначея проявил немалое благоразумие. Банкир выдает деньги лицу, которому у него открыт кредит, до тех пор, пока в кассе имеются соответствующие фонды; благодаря распоряжению Шенеля молодой граф, испытывая нужду в деньгах, был бы вынужден каждый раз обращаться к Сорбье, который, конечно, не преминул бы воспользоваться своим правом увещания.

Узнав, что он будет располагать ежемесячно двумя тысячами франков, Виктюрньен с трудом скрыл свою радость. Он мало знал Париж и вообразил, что на эти деньги будет жить там как принц.

Через день молодой граф уехал, напутствуемый благословениями всех обычных посетителей Музея древностей; вдовствующие аристократки осыпали его поцелуями и пожеланиями, старик отец, тетка и Шенель проводили его до городской заставы, и у всех троих глаза были полны слез. Внезапный отъезд юноши был в течение нескольких вечеров предметом городских пересудов и особенно взволновал пылавших ненавистью посетителей салона дю Круазье. Бывший поставщик, председатель суда и их приверженцы, поклявшись погубить д'Эгриньонов, увидели, что жертва ускользает из рук. Их мстительные планы строились в расчете на пороки молодого повесы, а он отныне оказывался вне досягаемости.

В силу своеобразных особенностей человеческой природы дочь праведницы нередко становится куртизанкой, а дочь развратницы — праведницей. Так и Виктюрньена по закону противоположности, обусловленному, без сомнения, законом тождества, столь неудержимо влекло в Париж, что рано или поздно он должен был бы уступить этому влечению. Воспитанный в старинной провинциальной дворянской семье, окруженный спокойно и кротко улыбавшимися домочадцами и степенными преданными слугами, вполне подходившими к патриархальному укладу жизни этого дома, мальчик знал только достойных и почтенных друзей. За исключением несравненного шеваляе, все окружавшие его держались степенно, речи их были всегда благопристойны и поучительны.

Его ласкали женщины в серых юбках и вышитых митенках, описанные Блонде. Отчий дом был обставлен с той старинной, строгой роскошью, которая меньше всего способна пробудить ветреные желания. Наконец, его воспитал аббат, чуждый всякого ханжества, проникнутый той идиллической мягкостью, какая обычно бывает у стариков, доживших до рубежа двух столетий: они приносят нам засохшие розы своего многолетнего опыта и поблекшие цветы нравов и обычаев своей далекой юности. Но Виктюрньен, которого все это должно было, казалось,

приучить к серьезности, внушить ему стремление поддержать славу своего исторического рода и смотреть на свою жизнь как на служение великому и почетному делу, — Виктюрье, наоборот, прислушивался к самым опасным идеям. Свое знатное происхождение он рассматривал лишь как ступеньку, годную для того, чтобы подняться над остальными людьми. Присмотревшись к кумиру домашнего очага д'Эгриньонов, которому они столь усердно курили фимиам, Виктюрье почувствовал его внутреннюю пустоту. И тогда юноша сделался одним из наиболее ужасных, но распространенных типов нашего общества. Он стал последовательным и законченным эгоистом. Привыкнув, в результате привитого ему аристократического культа собственного «я», следовать только своим прихотям, которые восторженно поощрялись и воспитателями, лелеявшими его в раннем детстве, и первыми товарищами его юношеских проказ, Виктюрье научился в конце концов расценивать все явления жизни лишь сообразно с тем удовольствием, которое они ему доставляли; при этом он был уверен, что всегда найдутся добрые души, готовые исправить его глупости; их вредная услужливость в конце концов погубила его. Воспитание Виктюрье, хотя оно было и возвышенным и благочестивым, тем не менее слишком обособило юношу от других людей и скрыло от него истинный характер времени, конечно, весьма далекий от сонной провинциальной жизни! А уверенность, что ему предназначена особая судьба, побуждала его стремиться в высшие круги общества. Молодой граф привык судить о фактах не по их социальному значению, а лишь с точки зрения их выгоды для него; он находил, что хороши те его поступки, которые приносят ему пользу, и, по примеру деспотов, считал, что для каждого отдельного случая должен быть свой закон; эта теория играет в отношении порочных поступков ту же роль, какую играет необузданная фантазия для созданий искусства, постоянно вызывая в них уродливые крайности. Одаренный проникательностью и сметливостью, он судил обо всем верно и метко, но поступал неосмотрительно и дурно. Какая-то непонятная незавершенность натуры, встречающаяся у весьма многих молодых людей, дурно отражалась на его поведении. Несмотря на живой ум, подчас поражающий своим неожиданным блеском, достаточно было, чтобы в нем заговорила чувственность, как разум его затуманивался и точно угасал. Виктюрье был бы загадкой для мудрецов и мог бы смутить даже самых больших сумасбродов. Страсть, как грозовой вихрь, мгновенно разрастаясь, обволакивала, как тучей, обычно ясные и светлые просторы его сознания; а потом, после беспутства, соблазну которого он не в силах был противостать, им овладевало полное бессилие души и тела, и он почти впадал в какое-то слабоумие. Такие люди, будучи предоставлены самим себе, способны опуститься на дно жизни, и они же могут достичь вершин государственной деятельности, если их вовремя поддержит твердая рука сурового друга. Ни Шенель, ни отец, ни тетка не понимали этого юношу, столь поэтичного какими-то сторонами своего существа, но чья душа, в самой своей сердцевине, была поражена злокачественным безволием.

Отъехав на несколько лье от родного города, Виктюрье уже перестал испытывать какие-либо сожаления. Он уже не вспоминал ни о нежно любившем его старике отце, который видел в нем родоначальника многих грядущих поколений д'Эгриньонов, ни о тетке, чья самоотверженная любовь граничила с безумием. Он рвался с роковой горячностью в Париж, который и раньше рисовался ему каким-то сказочным городом, где осуществляются его заветные мечты. Он верил в то, что будет первенствовать и там, как первенствовал, благодаря имени отца, в своем родном городе и департаменте. Но в нем говорила даже не гордость, а всего лишь тщеславие, по мере приближения к огромному городу его мечты о наслаждениях безмерно разрастались. Переезд он совершил очень быстро. Карета, словно не отставая от бега его мыслей, стремительно перенесла Виктюрье из тесного захолустья в огромный мир раскинувшейся перед ним столицы. Он остановился в отличной гостинице на улице Ришелье вблизи Бульваров и ринулся на завоевание Парижа, подобно тому как устремляется на луг

изголодавшийся конь. Виктюрье не замедлил увидеть разницу между Парижем и родным городом. Скорее удивленный, чем испуганный ею, юноша, с присущей ему сообразительностью, быстро понял, как он ничтожен среди этого вавилонского столпотворения и как безрассудно было бы противиться мощному потоку новых идей и обычаев. Для него было достаточно незначительного факта, чтобы окончательно понять это. Накануне Виктюрье вручил письмо отца герцогу де Ленонкуру, одному из французских вельмож, пользовавшихся наибольшей благосклонностью короля. Юноша посетил герцога в его великолепном особняке, увидел его среди роскоши, и на другой день встретил его на бульваре; герцог прогуливался пешком, с зонтиком в руке, без всяких регалий, даже без голубой орденской ленты, которую в старину кавалеры ордена не имели права снимать.

Герцог и пэр, первый королевский камергер, де Ленонкур при всей своей изысканной учтивости не мог сдержать улыбки, читая письмо маркиза, с которым был в родстве. И эта улыбка ясно сказала Виктюрье, что расстояние между Музеем древностей и Тюильри гораздо больше, нежели шестьдесят лет: между ними легло несколько веков.

В каждую эпоху король и двор окружают себя фаворитами, совершенно несхожими ни по имени, ни по качествам с приближенными других царствований. Здесь повторяется лишь самый факт, а не личности. Если бы история не подтверждала этого наблюдения, оно показалось бы невероятным. Двор Людовика XVIII выдвигал на первые места совсем иных людей, чем те, которые украшали собою двор Людовика XV, — Ривьеров, Блакасов, д'Аварэ, Дамбрэ, Вобланов, Витролей, д'Отишана, Ларош-Жаклена, Паскье, Деказа, Лене, де Виллеля, Лабурдонне и других. Сравните двор Генриха IV с двором Людовика XIV, и вы не найдете там даже пяти уцелевших знатных родов: Вильруа, фаворит Людовика XIV, был внуком простого писца, выдвинувшегося при Карле IX. А племянник Ришелье уже потерял к этому времени почти всякое значение. Д'Эгриньоны, державшиеся чуть не принцами при Валуа, еще остававшиеся всемогущими при Генрихе IV, не имели уже никакого веса при дворе Людовика XVIII, даже и не вспоминая о них. Нынче многие аристократические роды, как, например, Фуа-Граيي, д'Эрувили, чьи имена не менее славны, чем имена лиц, принадлежащих к царствующей фамилии, за отсутствием денег, этого единственного двигателя нашего времени, пребывают в неизвестности, равной полному угасанию.

Как только Виктюрье все это понял, — а он считал, что образ жизни знати определяется только ее влиятельностью, — молодой граф почувствовал, что оскорблен буржуазным парижским равенством, этим чудовищем, сожравшим при Реставрации последние остатки прежнего сословного строя, и захотел отвоевать себе утраченное д'Эгриньонами место; он выбрал для этого довольно опасное, хотя уже изрядно притупившееся оружие, которое наш век еще оставил в руках дворянства. Виктюрье стал подражать нравам тех, кого Париж осчастливил своим дорогостоящим вниманием, счел нужным завести собственных лошадей, дорогие экипажи и другие принадлежности современной роскоши. Необходимо «идти в ногу с веком», — сказал ему по этому поводу де Марсе, первый парижский денди, которого Виктюрье встретил в первом же парижском салоне. К несчастью, юноша попал в среду парижских повес, вроде де Марсе, Ронкероля, Максима де Трай, де Люпо, Растиньяка, Ванденеса, Ажуда-Пинто, Боденора, Ларош-Гюйона и Манервиля, с которыми он встречался у маркизы д'Эспар, у герцогинь де Гранлье, де Карильяно, де Шолье, у маркиз д'Эглемон и де Листомэр, у г-жи Фирмиани, у графини де Серизи, в Опере, в посольствах, — словом, всюду, куда ему открывало доступ его знатное имя и богатство. В Париже имя аристократа, принятого и признанного Сен-Жерменским предместьем, знающим провинциальную знать как свои пять пальцев, служит как бы отмычкой, легко отпирающей двери, которые с трудом раскрываются перед людьми малоизвестными и героями второразрядных гостиных. Виктюрье предстал

перед своими родственниками не в качестве просителя, поэтому они встретили его чрезвычайно любезно и гостеприимно; он сразу же понял, что единственный способ что-нибудь от них получить — это ничего не домогаться. Если первым побуждением парижанина является желание оказать новичку покровительство, то за этим обычно следует гораздо более продолжительный период высокомерного презрения к нему. Гордость, надменность, тщеславие, как хорошие, так и дурные чувства молодого графа, подсказывали ему, что надо держаться наступательной тактики. И тогда оказалось, что герцоги де Верней, д'Эрувиль, де Ленонкур, де Шолье, де Наваррен, де Гранлье, де Мофриньез, принцы де Кадиньян и де Бламон-Шоври просто жаждут представить королю этого очаровательного наследника старинного рода. Виктюрньен явился в Тюильри в великолепном экипаже с гербами д'Эгриньонов; однако его представление королю показало молодому графу, что народ доставляет монарху слишком много забот и ему некогда думать о дворянстве. Граф внезапно понял, что режим Реставрации, опиравшийся на престарелых политиков и одряхлевших царедворцев, обрекает молодых дворян на рабское прислужничество; он убедился в том, что для него не найдется достойного места ни при дворе, ни на государственной службе, ни в армии, — словом, нигде. И тогда юноша бросился очертя голову в водоворот светских удовольствий. Введенный в Елисейский дворец, к герцогине Ангулемской, в особняк Марсан, он встречал всюду ту преувеличенную учтивость, с какой полагается принимать наследника древнего рода, о котором вспоминают, лишь увидев его перед собой. Впрочем, тут играли роль не одни воспоминания: Виктюрньена окружали изысканной любезностью, видя в нем будущего пэра и блестящего жениха; тщеславие помешало ему открыть свое истинное положение, и он продолжал разыгрывать из себя богача. Все так восхищались его манерами, он был так счастлив своим первым успехом, что ложный стыд, испытываемый многими молодыми людьми, — стыд перед необходимостью отказаться от уже одержанных побед, заставил его продолжать взятую на себя роль. Он снял на улице Дю-Бак небольшую квартиру с конюшней, каретным сараем и всей обстановкой, необходимой для жизни щеголя, на которую с самого начала обрек себя.

Для этой роли потребовалось пятьдесят тысяч франков. Молодой граф, благодаря непредвиденному стечению обстоятельств, получил деньги, несмотря на меры, предусмотрительно принятые дальновидным Шенелем. Послание Шенеля, правда, пришло в контору его друга, но уже не застало Сорбье в живых. Увидев деловое письмо, вдова Сорбье, женщина отнюдь не поэтическая, передала его преемнику покойного мужа. Новый нотариус, Кардо, сообщил молодому графу, что переводный вексель на казначейство, выданный на имя его предшественника, недействителен. На патетическое послание провинциального нотариуса, столь длинное и тщательно продуманное, господин Кардо ответил четырьмя строчками, не для изъявления сочувствия Шенелю, а для получения приказа на свое имя. Шенель переписал переводный вексель на имя нового нотариуса. Мало склонный разделять сентиментальные чувства своего корреспондента, Кардо был очень рад возможности оказать услугу графу д'Эгриньону и выдал всю сумму, которую от него потребовал Виктюрньен. Люди, знающие парижскую жизнь, отлично понимают, что нужно вовсе не так уж много мебели, экипажей, лошадей и прочего, чтобы промотать пятьдесят тысяч франков; поэтому не удивительно, что Виктюрньен вскоре задолжал еще тысячу двадцать франков своим поставщикам, которые на первых порах охотно оказывали ему кредит, ибо общественное мнение и Жозефен, этот второй Шенель в ливрее, довольно быстро раздули слухи о состоянии молодого графа.

Через месяц после приезда Виктюрньен был вынужден взять еще десять тысяч франков у своего нотариуса. Он теперь часто играл в вист у герцогов де Наварренов, де Шолье, де Ленонкуров и в клубе. Сначала он выиграл несколько тысяч франков, но, проиграв затем пять или шесть тысяч, почувствовал необходимость всегда иметь при себе деньги для игры.

Виктюрньен обладал тем складом ума, который нравится в обществе и помогает отпрыскам знатных родов достигать самого высокого положения. Его не только сразу же приняли в круг золотой молодежи, но он даже сделался предметом зависти. А почувствовав эту зависть, юноша испытал такое пьянящее чувство торжества, которое, конечно, не могло пробудить в нем благоразумия. Напротив, он повел себя совершенно безрассудно. Он знать не желал, каковы его средства, и швырял деньги направо и налево, точно кошелек его был неистощим; он запрещал себе думать о том, к чему все это может привести. В это бурно веселящееся общество, в этот круговорот празднеств участники допускаются, как актеры на сцену, в самых ослепительных костюмах, причем никто не спрашивает об их состоянии: заниматься денежными вопросами считается там самым дурным тоном. Подобно природе, каждый должен уметь приумножать свои богатства втайне. Можно еще иронически осведомиться о размерах богатства того, кого не знаешь, или поболтать о его разорении, но не больше. Молодой человек, который, подобно Виктюрньену, пользуется покровительством могущественных аристократов из Сен-Жерменского предместья и которому даже они приписывают состояние гораздо большее, чем у него имеется (хотя бы для того, чтобы от него отделаться — очень тонко, очень галантно, легким намеком, случайно брошенной фразой), молодой человек — титулованный, благонамеренный, остроумный, красавец, блестящий жених, отцу которого до сих пор принадлежат старинные наследственные поместья и родовый замок, — такой молодой человек будет, конечно, принят с распростертыми объятиями повсюду, где есть скупающие молодые женщины, маменьки с дочками на выданье или веселые вертушки без приданого. Поэтому свет с улыбкой посадил Виктюрньена в первые ряды своего театра. Эти первые ряды — подобие кресел, которые некогда ставились на сцене для маркизов, и по сей день существуют в Париже, где меняются лишь названия, но не суть вещей.

Среди представителей Сен-Жерменского предместья, которые все были наперечет, Виктюрньен встретил двойника шеваляе в лице видама^[18] де Памье. Видам был вторым шеваляе де Валуа, но возведенным в десятую степень: он пользовался всеми преимуществами богатства и высокого положения. Этому любезному старику охотно доверялись всевозможные тайны, он служил как бы газетой аристократического предместья; впрочем, видам не отличался излишней болтливостью; как и все газеты, он разглашал лишь то, что можно разглашать. Виктюрньену пришлось, таким образом, еще раз выслушать теории, которые ему некогда проповедовал шеваляе. Видам без обиняков посоветовал д'Эгриньону заводить связи с женщинами из общества и рассказал ему о собственных похождениях в молодости. Но проделки, допускавшиеся в те времена, настолько чужды современным нравам, когда душа и страсть играют такую роль в любовных делах, что бесполезно передавать его рассказ людям, которые едва ли поверят ему. Добрейший видам сделал больше: он в заключение сказал Виктюрньену:

— Я приглашаю вас завтра отобедать со мной в одном кабачке. А после Оперы, куда мы отправимся для пищеварения, я поведу вас в один дом, где вы встретите некоторых особ, жаждущих с вами познакомиться.

Видам угостил Виктюрньена обедом в «Роше де Канкаль»; здесь, кроме него, оказалось лишь трое приглашенных: де Марсе, Растиньяк и Блонде. Эмиль Блонде, земляк молодого графа, был писателем; он получил доступ в высший свет благодаря связи с очаровательной молодой женщиной, родом из той же провинции, что и д'Эгриньоны, красавицей графиней де Монкорне, урожденной де Труавиль; муж ее, граф де Монкорне, принадлежал к числу наполеоновских генералов, перешедших на сторону Бурбонов. Де Памье терпеть не мог обедов, в которых участвовало больше шести человек. Он считал, что в таких случаях не может быть ни настоящего очарования беседы, ни подлинного смакования кушаний и вин, которое дано лишь знатокам.

— Я еще не сказал вам, дитя мое, куда собираюсь повести вас сегодня вечером, — сказал он

Викторньену, беря его руку в свои и похлопывая по ней. — Мы направимся к мадемуазель де Туш, где соберется тесный кружок хорошеньких молодых женщин, претендующих на ум. Литература, искусство, поэзия, — словом, всякие таланты там в чести. Этот салон уже давно является одним из наших умственных центров; все идеи, которые там высказываются, отмечены налетом монархической морали; это — знамение нашего времени.

— Там порой скучаешь и устаешь, как будто надел новые сапоги, зато там бывают женщины, с которыми нигде больше нельзя поговорить, — заметил де Марсе.

— Если бы все поэты, которые приходят туда, чтобы обтесать свою музу, были такими, как наш приятель, — сказал Растиньяк, снисходительно похлопывая Блонде по плечу, — то еще можно было бы повеселиться. Но все эти оды и баллады, мелкотравчатые поэтические размышления и широковещательные романы слишком уж заполонили и умы и салоны.

— Лишь бы сочинители не избаловали нам женщин да развращали бы побольше молодых девиц, — сказал де Марсе, — и я ничего против них не имею.

— Господа, — отозвался, улыбаясь. Блонде, — это уж вы вторгаетесь в мою область.

— Молчи! Ты украд у нас самую очаровательную светскую женщину, плут, — воскликнул Растиньяк, а нам уж нельзя и украсть хоть некоторые твои идеи?

— Да, этому вертопраху здорово везет, — сказал видам, теребя Блонде за ухо. — Но, быть может, Викторньену сегодня повезет еще больше.

— Уже? — воскликнул де Марсе. — Да он здесь всего месяц, он едва успел стряхнуть с себя пыль своего древнего замка и смыть рассол, в котором его сохраняла тетка; он едва успел завести себе приличную английскую лошадь, модное тильбюри, грума...

— Нет у него никакого грума, — возразил Растиньяк, прерывая де Марсе, — он привез «из своих мест» какого-то деревенского простофилю; Бюиссон, портной, знающий толк в ливреях, уверяет, что этот увалень не умеет носить даже куртки.

— Мне думается, — важно заметил видам де Памье, — что вам следовало бы, дети мои, брать пример с Боденора, который имеет перед всеми вами то преимущество, что он завел себе настоящего английского грума — «тигра».

— Вот, господа, до чего дошли французские дворяне! — воскликнул Викторньен. — Для них самое важное иметь «тигра», английскую лошадь и всякие безделушки!..

— Однако, — сказал Блонде, обращаясь к Викторньену, — ваш здравый смысл меня приводит в ужас! Да, юный моралист, это все, что у вас осталось. Вы даже не можете похвалиться той расточительной щедростью, которой прославился пятьдесят лет назад наш дорогой видам! Теперь мы кутим на втором этаже какой-нибудь гостиницы на улице Монторгейль. Нет больше войны с кардиналом, не существует уже Лагеря золотой парчи. Наконец, вот вы, граф д'Эгриньон, ужинаете с каким-то господином Блонде, младшим сыном провинциального судьи, которому вы там, у себя, руки бы не подали, но который лет через десять преспокойно может занять место рядом с вами среди пэров Франции! Вот после этого и верьте, если можете, в свое превосходство.

— Ну и что же, — сказал Растиньяк, — мы перешли от факта к мысли, от грубой физической силы к духовной. Мы говорим о...

— Не будем говорить о наших бедствиях, — сказал видам, — я хочу умереть весело и спокойно. Если наш друг еще не завел себе «тигра», то сам он — из породы львов и поэтому ни в каком тигре не нуждается.

— Нет, он не обойдется без тигра, — сказал Блонде, — он ведь здесь новичок.

— Хотя лоск у него и недавний, мы принимаем графа в наш круг, — продолжал де Марсе. — Он достоин нас, он понимает дух времени, он умен, знатен, красив, мы его полюбим, мы его поддержим, мы его доведем...

— До чего? — спросил Блонде.

— Вот любопытный! — отозвался Растиньяк.

— С кем вы его собираетесь свести нынче вечером? — спросил де Марсе.

— С целым сералем, — ответил де Памье.

— Черт побери! — сказал де Марсе. — Что это за принцесса, ради которой любезный видам столь суров с нами? Я буду просто в отчаянии, если не узнаю, кто она...

— А ведь и я был когда-то таким же фатом, — сказал видам, указывая на де Марсе.

После обеда, который прошел весьма приятно, причем беседа велась в тоне пленительного злословья и изящного цинизма, Растиньяк и де Марсе поехали с видамом и Виктюрьеном в Оперу, чтобы направиться оттуда всем вместе к мадемуазель де Туш. Эти двое повес, точно высчитав время, прибыли туда, когда должно было окончиться чтение трагедии, ибо находили, что чрезвычайно вредно вкушать на ночь столь тяжелую пищу. Их главной целью было — шпионить за Виктюрьеном и смущать его своим присутствием: чисто мальчишеская шалость, к которой, однако, примешивалась желчная досада завистливых денди. В манерах Виктюрье́на чувствовался тот дерзкий задор, с каким держатся пажи, и это придавало ему особую непринужденность. Наблюдая за поведением новичка в гостиной мадемуазель де Туш, Растиньяк удивился, с какой быстротой молодой человек успел усвоить манеры светского общества.

— А ведь этот маленький д'Эгриньон далеко пойдет, — шепнул он своему спутнику.

— Трудно сказать, — ответил де Марсе, — но начал он хорошо.

Видам представил молодого графа одной из самых любезных и самых ветреных герцогинь того времени, чьи любовные приключения вызвали скандал лишь лет пять спустя. Она была тогда в полном расцвете своей славы; уже ходили, правда еще ничем не подтвержденные, слухи о некоторых ее увлечениях, и это придавало ей тот особый блеск, который придает не только мужчине, но и женщине первое прикосновение парижской клеветы: ведь клевета равнодушна к ничтожествам, и это приводит их в бешенство. Женщина эта была герцогиня де Мофриньез, урожденная д'Юкзель. Ее свекор был в ту пору еще жив, и принцессой де Кадиньян она стала лишь позднее. Приятельница герцогини де Ланже и виконтессы де Босеан, двух блестящих красавиц, уже исчезнувших с парижского горизонта, она теперь близко сошлась с маркизой д'Эспар, у которой оспаривала недолговечный титул царицы великосветских салонов.

Долгое время ей покровительствовала многочисленная родня; но герцогиня принадлежала к тому типу женщин, которые, неведомо как, с непостижимой быстротой и легкостью способны промотать все богатства земного шара и даже луны, если бы только можно было их достать. Эта сторона ее натуры только еще начинала сказываться, и лишь один де Марсе сумел постичь ее. Увидев, что видам подвел Виктюрье́на к этой прелестной женщине, опасный денди склонился и прошептал на ухо Растиньяку:

— Мой друг, он будет проглочен — фьють, — как шкалик водки извозчиком.

Вульгарное сравнение де Марсе как нельзя лучше определило грядущую развязку этой еще только возникавшей страсти. Внимательно рассмотрев Виктюрье́на, герцогиня де Мофриньез без памяти в него влюбилась. Ангельский взгляд, которым она поблагодарила видама де Памье, своей пылкостью, наверно, вызвал бы ревность влюбленного. Когда женщины находятся в обществе мужчин, подобных видаму, и чувствуют себя в безопасности, они напоминают лошадей, выпущенных в широкую степь: они тогда становятся естественными, им нравится даже приоткрывать свои нежные чувства. Герцогиня и видам посмотрели друг другу в глаза, и этот взгляд не отразился ни в одном из зеркал, его никто не перехватил.

— Как она старательно подготовилась! — сказал Растиньяк де Марсе. — Какой девический туалет, какая лебединая грация в этой белоснежной шее, какой взгляд непорочной мадонны; и

это белое платье с кушаком, как у девочки! Кто бы поверил, что ты уже прошел через все это?

— Но она именно поэтому и имеет такой вид, — торжествующе отозвался де Марсе.

Молодые люди с улыбкой переглянулись. Г-жа де Мофриньез заметила эту улыбку и догадалась о ее причине. Она окинула обоих фатов таким холодным взглядом, каких француженки до заключения мира не знали; эти взгляды были ввезены во Францию англичанками вместе с английской серебряной посудой, упряжью, лошадьми и чисто британским ледяным выражением лица, замораживающим атмосферу в любой гостиной, где находятся несколько английских леди. Молодые люди сделались серьезными, как приказчики, которые получили нагоняй от хозяина и ждут, чтобы их простили.

Воспылав страстью к Виктюрньену, герцогиня задумала разыграть роль романтической Агнессы, которой, на беду нашей молодежи, увлекаются многие женщины; она с такой же легкостью задумала изобразить из себя небесного ангела, с какой решила, что в сорок лет обратится не к благочестию, а к литературе и наукам. Г-жа де Мофриньез во всем старалась быть оригинальной; она сама придумывала для себя наряды и роли, чепчики и мнения, туалеты и манеры. В первые годы после замужества, когда она еще походила на молодую девушку, она старалась прослыть женщиной многоопытной и даже испорченной, позволяла себе вести с людьми наивными разговоры на рискованные темы, показывавшие настоящим развратникам, сколь она еще на самом деле простодушна. Дата ее брака была всем хорошо известна, и она не могла убавить себе ни одного года; так как дело шло уже к двадцати шести, то она решила принять вид полной непорочности. Когда герцогиня шла, казалось, она вот-вот оторвется от земли, и широкие рукава ее платья трепетали, точно крылья. При каждом чуть нескромном слове, помысле, взгляде она сокрушенно возводила очи горé. Даже мадонна великого генуэзского живописца Пиолы, убитого из зависти как раз в то время, когда он собирался повторить великое создание Рафаэля, даже эта мадонна, самая целомудренная из всех мадонн, едва видная сквозь запыленное стекло ниши на одной генуэзской улице, — даже она показалась бы Мессалиной в сравнении с герцогиней де Мофриньез. И дамы только диву давались, каким чудом столь ветреная и легкомысленная особа с помощью одного лишь туалета вдруг превратилась в воздушное, небесное создание, чья чистая душа, пользуясь модным в ту пору выражением, была белее снега альпийских вершин. Как удалось ей так легко и быстро разрешить явно иезуитскую задачу и столь ловко показать свою грудь, которая была еще белоснежнее ее души, стыдливо прикрыв ее легкой дымкой газа? Как умела она выглядеть столь бесплотной и при этом метать столь смертоносные взгляды? Казалось, ее сладострастный, почти бесстыдный взор сулит бездну наслаждений, но слетавший вслед за тем с ее уст аскетический вздох о радостях нездешней жизни тотчас же отнимал всякую надежду. Наивные молодые люди — а в те времена они еще водились в рядах королевской гвардии — недоумевали, дозволено ли мужчине, даже в минуты самой интимной близости, говорить «ты» этой Белой Даме, этой звездной туманности, сошедшей на землю с Млечного Пути. «Ангельский» стиль, пользовавшийся успехом в обществе в течение нескольких лет, оказался особенно удобным для таких женщин, у которых пленительный бюст сочетался с весьма решительной философией и которые прикрывали благочестивыми ужимками непомерные вожделения. Эти небесные создания отлично знали, что естественное желание любого знатного мужчины вернуть их на землю сулит им немало земных благ. Однако эта мода позволяла им спокойно пребывать в полукатолических, полуоссиановских эмпиреях; благодаря ей они могли (а они именно этого желали) пренебрегать низменными сторонами повседневной жизни, что устраняло многие сложности. Де Марсе угадал, что герцогиня решила действовать именно в таком духе; видя, что Растиньяк едва ли не ревнует к Виктюрньену, он перед уходом шепнул ему:

— Не огорчайся, дружок, — хорошо там, где нас нет! Дельфина Нусинген поможет тебе

нажить состояние, а герцогиня тебя бы разорила. Эта женщина слишком дорога.

Растиньяк ничего не ответил де Марсе: он знал, что такое Париж. И хорошо знал, что самая изысканная, самая знатная, самая бескорыстная светская женщина, которой ничего и поднести нельзя, кроме букета, не менее опасна для молодого человека, чем были некогда опасны оперные дивы. Но эти дивы уже давно отошли в область преданий. Нынешние театральные нравы превратили танцовщиц и актрис в довольно комическое явление: они — как бы олицетворенная «Декларация прав женщины»; это — куклы, которые по утрам выступают в роли добродетельных и почтенных матерей семейства, а вечером — в мужских ролях смело выставляют напоказ свои ноги, обтянутые узкими панталонами. В тиши провинциального кабинета добряк Шенель верно предугадал один из тех подводных рифов, о которых мог разбиться молодой граф. Сияние, излучаемое г-жой де Мофриньез, ослепило Виктюрньена, он с первой же минуты оказался в плену и не мог глаз отвести от детского кушака герцогини, от привороживших его кудрей, словно завитых рукою феи. Уже достаточно развращенный, юноша почему-то сразу же поверил этой мишурной, кисейной непорочности, этому неземному выражению лица, продуманному во всех тонкостях, подобно закону, подробно обсужденному в обеих палатах парламента. Но, видно, так тому и быть: кто обречен поверить женской лжи, тот обязательно поверит ей!

Для двух влюбленных окружающий их мир важен не более, чем рисунок на обоях. Герцогиня была, без преувеличения, одной из десяти первых и общепризнанных красавиц Парижа. Впрочем, все знают, что в мире влюбленных столько же «первых красавиц», сколько «самых лучших произведений» в современной литературе. В возрасте Виктюрньена разговор, который он вел с герцогиней, поддерживать нетрудно. Благодаря своей молодости и незнанию парижской жизни он мог не быть начеку, мог не обдумывать каждое слово и взгляд. Возвышенная религиозная сентиментальность, которая теперь в моде, обычно служит у собеседников прикрытием для весьма насмешливых и лукавых мыслей и совершенно исключает милую непринужденность и беспечное остроумие старинной французской беседы; в наше время влюбленные видят друг друга словно через плотный вуаль. Виктюрньен обладал именно той степенью провинциальной неискушенности, какая нужна, чтобы пребывать в почтительном и непритворном восторге; это и нравилось герцогине, ибо если мужчина разыгрывает комедию, ему так же трудно обмануть женщину, как и женщине — мужчину. Г-жа де Мофриньез с замиранием сердца подумала, что заблуждение на ее счет молодого графа обещает, по крайней мере, полгода чистой любви. Она была так прелестна, эта голубица, прикрывавшая жаркий пламень своих очей золотистой бахромой ресниц, что маркиза д'Эспар, подойдя к ней, чтобы проститься, шепнула: «Хорошо, душенька, очень хорошо». Затем прекрасная маркиза предоставила своей сопернице путешествовать по современной карте «страны нежности», которая вовсе не такая нелепость, как иные полагают. Карта этой страны покрывается из века в век новыми именами, но все ее дороги ведут в ту же столицу. За час интимной беседы на диване в уголке гостиной, на глазах всего общества, герцогиня довела юного д'Эгриньона до чисто сципионовского великодушия, до легендарной преданности Амадиса. До самоотречения в духе средних веков, которые, вместе с башнями, кинжалами, кольчугами, латами, длинноносими башмаками и прочей романтической бутафорией, начали входить тогда в моду. Г-жа де Мофриньез превосходно владела оружием недомолвок и, точно иголки в подушечку, как бы нечаянно и незаметно вонзала их в сердце Виктюрньена. Она искусно роняла намеки, очаровательно лицемерила, щедро осыпала юношу туманными обещаниями, которые, едва зародив в нем надежду, тут же таяли, словно лед на солнце; наконец, она коварно будила в нем желания, искусно скрывая те, которые уже пробудились в ней самой. В конце этой сладостной встречи она ловко накинула на него петлю, пригласив побывать у нее, и сделала это с такой

кошачьей грацией, которую невозможно передать словами.

— Ах, вы меня забудете! — лепетала она. — Столько женщин будут ухаживать за вами, вместо того чтобы вас просвещать... Но вы еще вернетесь ко мне, когда разочаруетесь в них. Придете ли вы до этого?.. Нет! Впрочем, поступайте, как вам захочется. Мне, скажу чистосердечно, ваши посещения доставили бы большую радость. Так редко встречаешь людей с душой, а я верю, что она у вас есть. Ну, прощайте: если мы будем говорить с вами дольше, пожалуй, другие о нас заговорят.

И она буквально упорхнула. После отъезда герцогини Виктюрньен просидел недолго; но этих минут было достаточно, чтобы окружающие угадали его состояние по особому, счастливому выражению лица, имеющему нечто общее со скрытым торжеством человека, проникшего в чужую заветную тайну, и с блаженной сосредоточенностью святоши, когда он, получив отпущение грехов, выходит из исповедальни.

— Нынче вечером госпожа де Мофриньез довольно ловко достигла цели, — заметила герцогиня де Гранлье, когда в гостиной мадемуазель де Туш осталось всего шесть человек — де Люпо, докладчик в государственном совете, пользовавшийся благосклонностью короля, Ванденес, виконтесса де Гранлье. Каналис и г-жа де Серизи.

— *Д'Эгри-ньон* и *Мофри-ньез* — эти две фамилии так созвучны, что должны были бы слиться, — заметила г-жа де Серизи, претендовавшая на остроумие.

— Вот уже несколько дней, как она мечтает отдохнуть под сенью платонической любви, — сказал де Люпо.

— Она же погубит бедного малого, — вставил Шарль де Ванденес.

— В каком смысле? — спросила мадемуазель де Туш.

— О! И морально и материально, в этом не может быть сомнения! — подхватила виконтесса, вставая.

Эти жестокие слова вскоре стали для молодого графа д'Эгриньона жестокой действительностью. На другое же утро он написал тетке письмо, в котором изобразил свои первые успехи в гостиных Сен-Жерменского предместья теми радужными красками, какими бывает расцвечен мир, когда на него смотрят сквозь призму любви. Граф постарался так описать радушный прием, который ему всюду оказывали, чтобы польстить самолюбию отца. Маркиз заставил дважды прочитать ему это длинное письмо и потирал руки, слушая рассказ об обеде, который видам де Памье, его старинный знакомый, дал в честь молодого д'Эгриньона, и о том, как Виктюрньен был представлен герцогине; но он выказал крайнее недоумение по поводу присутствия на этом званом обеде младшего сына судьи Блонде, того самого Блонде, который состоял во время революции общественным обвинителем.

Этот вечер был для Музея древностей праздником: все обсуждали успехи молодого графа. О знакомстве юноши с герцогиней де Мофриньез хозяева едва упомянули, и шевалье был единственным, с кем об этом поговорили по душам. В письме отсутствовала неприятная приписка, которой обычно заканчиваются все послания молодых людей домой, — в нем не упоминалось о деньгах, этой основе всех основ. Мадемуазель Арманда сообщила содержание письма Шенелю. Он был совершенно счастлив и не высказал никаких сомнений или опасений. И шевалье и маркиз полагали, что молодой человек, заслуживший любовь герцогини, непременно станет одним из первых при дворе, где, как и в старину, всего добиваются с помощью женщин. Все решили, что выбор юноши недурен. Вдовствующие аристократки тут же перебрали все любовные похождения де Мофриньезов во время Людовика XIII и до Людовика XVI, к счастью, не коснувшись более давних времен; словом, они были в восторге. Г-жу де Мофриньез чрезвычайно хвалили за ее благосклонное внимание к Виктюрньену. Остается лишь пожалеть о том, что разговоров, которые велись в Музее древностей, не услышал какой-нибудь

драматург, жаждущий написать правдивую комедию.

Виктюрньен получил нежнейшие письма от отца, тетки и шеваляе, просившего напомнить о нем видуamu, с которым они в 1778 году вместе ездили в Спа, сопровождая знаменитую венгерскую принцессу. Шенель тоже написал молодому д'Эгриньону. И каждая строка всех этих писем дышала той лестью, к которой был приучен с детства несчастный юноша. А мадемуазель Арманда чувствовала себя так, точно сама участвовала в радостях г-жи де Мофриньез.

Окрыленный одобрением семьи, молодой граф, уже не раздумывая, вступил на гибельный и разорительный путь дендизма. Он завел пять лошадей и считал, что это еще очень скромно, — у де Марсе их было четырнадцать. Он дал ответный обед видуamu, пригласив на него де Марсе, Растиньяка и даже Блонде. Обед обошелся в пятьсот франков. Эти господа, в свою очередь, чествовали его с не меньшей пышностью. Он много и несчастливо играл в вист, бывший тогда в моде. Виктюрньен так распределил свое время, что, несмотря на полную праздность, был всегда занят. Каждый день с двенадцати до трех он бывал у герцогини; затем встречался с нею снова в Булонском лесу: граф ехал на своей английской лошади, герцогиня — в экипаже. В солнечные дни влюбленные вдвоем совершали прогулки верхом. А по вечерам молодого графа ждали светские приемы, балы, празднества, спектакли. Виктюрньен блистал повсюду, ибо он повсюду рассыпал жемчуг своего остроумия, верно и метко судил о людях, жизни и событиях: он был подобен плодovому дереву, дающему только цветы. Юный денди вел ту утомительную жизнь, при которой люди растрачивают душу еще больше, чем деньги, зарывают самые блестящие таланты, — жизнь, где гибнет самая неподкупная честность и ослабевает самая закаленная воля. Герцогиня — это чистое, хрупкое, ангельское создание — находила немалое удовольствие в рассеянной жизни молодых холостяков: она любила бывать на премьерах, ей нравились проказы и неожиданные забавы. Ей еще ни разу не довелось побывать в кабачке, и д'Эгриньон однажды повез ее ужинать в «Роше де Канкаль», и она восхитительно провела там время в обществе любезных светских кутил, которым читала нравoучения: остроты и веселье в тот вечер не уступали блеску самого ужина. За этим кутежом последовали другие. Тем не менее страсть Виктюрньена все еще сохраняла свои ангельский характер. Да, г-жа де Мофриньез оставалась ангелом, которого не могла коснуться земная скверна, ангелом — в театре Варьете, когда она смотрела непристойные и вульгарные фарсы, смешившие ее до упаду; ангелом — под перекрестным огнем вольных, но очаровательных шуток и скандальных сплетен, которыми развлекались участники изысканных увеселений; она оставалась томным ангелом в закрытой ложе театра Водевиль; ангелом — когда подмечала позы танцовщиц в Опере и разбирала их с опытностью старого волокиты; ангелом в театре «Порт-Сен-Мартен» и в маленьких театриках на Бульварах; ангелом на балах-маскарадах, где она резвилась, как школьник; ангелом, мечтающим о любви жертвенной, героической, самозабвенной и вместе с тем требующим от д'Эгриньона, чтобы он покупал еще одну лошадь, если ей не нравилась масть его прежней лошади, и чтобы у него были повадки английского лорда с миллионным доходом. Ангелом она была и за картами. И, уж конечно, ни одна буржуазка не могла бы со столь ангельским видом сказать д'Эгриньону: «Поставьте за меня». Совершая безумства, она так божественно безумствовала, что можно было душу продать дьяволу, лишь бы поддержать в этом ангеле вкус к земным радостям!

В первую зиму молодой граф взял у нотариуса Кардо, отнюдь не спешившего воспользоваться своим правом увещания, такой *пустяк*, как тридцать тысяч франков сверх суммы, высланной Шенелем. Изысканно вежливый, но решительный отказ нотариуса в ответ на новую просьбу о деньгах заставил Виктюрньена вспомнить об этом дефиците; отказ был тем более досаден и неприятен, что граф перед тем проиграл в клубе шесть тысяч франков и не мог туда показаться, не уплатив их сполна. Убедившись в непреклонности Кардо, который уже

выдал ему в долг тридцать тысяч франков (тут же написав об этом Шенелю) и всячески похвалялся этим доверием, оказанным им любимцу прекрасной герцогини, — д'Эгриньон был вынужден посоветоваться с нотариусом о том, как же раздобыть денег, так как речь шла о долге чести.

— Напишите несколько переводных векселей на банкира вашего отца, отнесите их в парижский банк, с которым он связан, и там их, наверно, учтут, а потом напишите родным, чтобы они внесли банкиру эту сумму.

Викторньен был в отчаянии, и тут внутренний голос подсказал ему в качестве поручителя имя дю Круазье, о враждебных чувствах которого к аристократии молодой человек, видя подобострастие дю Круазье перед ней, даже не подозревал. Итак, он написал дю Круазье весьма непринужденное письмо, уведомляя его, что выдал на него переводный вексель на десять тысяч франков, которые и будут возвращены господином Шенелем и мадемуазель Армандой д'Эгриньон, как только они получают от графа извещение. Затем Викторньен отправил еще два трогательных письма тетке и Шенелю. Когда дело идет о том, чтобы броситься в пропасть, молодые люди проявляют необыкновенную ловкость и изобретательность, и все им удается. В то же утро Викторньен узнал фамилии и адреса парижских банкиров, имевших дела с дю Круазье, — это были братья Келлеры, указанные ему де Марсе, — этот молодой человек знал положительно весь Париж. Келлеры беспрекословно вручили д'Эгриньону под расписку сумму, указанную в векселе: они были должны дю Круазье. Но карточный долг оказался пустяком в сравнении с другими расходами графа. Счета дождем посыпались на Викторньена.

— Как? Ты занимаешься этой чепухой? — смеясь, спросил однажды утром д'Эгриньона Растиньяк. — Ты приводишь в порядок счета? Вот уж не ожидал от тебя такого мешчанства.

— Поневоле приходится о них думать, милый мой.. У меня набралось долгу на двадцать тысяч с лишним.

Де Марсе, заехавший за д'Эгриньоном, чтобы повезти его на скачки, вытащил из кармана изящный бумажник, извлек оттуда двадцать тысяч франков и протянул молодому графу.

— Вот самый лучший способ их не проиграть! — воскликнул он. — Я сегодня рад вдвойне, что выиграл их вчера у своего уважаемого папаши, лорда Дэдлей.

Эта чисто французская любезность совершенно пленила д'Эгриньона, который тут же наивно поверил в дружбу де Марсе; он не стал платить долгов, а потратил эти деньги на развлечения. А де Марсе с несказанным удовольствием наблюдал за тем, как д'Эгриньон, по выражению, принятому среди денди, все глубже «вязнет» в долгах, и, прикидываясь его другом, даже с удовольствием подталкивал его, чтобы тот поскорее пошел ко дну: он завидовал Викторньену, так как герцогиня афишировала свои отношения с графом, тогда как от де Марсе она в свое время требовала сохранения глубочайшей тайны. Впрочем, этот щеголь принадлежал к числу тех жестоких, бездушных насмешников, которым зло доставляет такое же удовольствие, как турчанкам — баня. И вот, когда де Марсе взял на скачках приз и все участники пари собрались в загородной харчевне, где нашлось несколько бутылок хорошего вина, он, смеясь, сказал д'Эгриньону:

— А ведь эти счета, которые тебя так беспокоят, верно, даже и не твои?

— Но разве он стал бы тогда из-за них беспокоиться? — спросил Растиньяк.

— А чьи же они еще? — спросил д'Эгриньон.

— Тебе разве неизвестно положение герцогини? — заметил де Марсе, снова вскочив в седло.

— Нет, — отозвался заинтригованный д'Эгриньон.

— Ну так вот, милый мой, — пояснил де Марсе, — имей в виду: тридцать тысяч она должна у Викторины, восемнадцать у Убигана, по одному счету у Эрбо, у Натье, у Нуртье, у Лагур — у

нее долгов на сто тысяч франков.

— У этого ангела? — сказал д'Эгриньон, устремляя глаза к небу.

— Вот тебе стоимость ее крылышек! — насмешливо воскликнул Растиньяк.

— Она и задолжала столько, милый мой, именно потому, что она ангел, — заявил де Марсе. — Но все мы, — продолжал он, переглянувшись с Растиньяком, — видали немало ангелов, попавших в подобное положение. Женщины, друг мой, просто восхитительны: ведь они ничего не смыслят в деньгах, они в такие дела не вмешиваются, это их не касается; они лишь гости «на пиршестве жизни», как выразился уж не помню какой поэт, умерший на больничной койке.

— Откуда вы узнали о ее долгах, если я ничего не знаю? — простодушно удивился д'Эгриньон.

— Ты узнаешь о них последний, так же как она последняя узнает о твоих долгах.

— А я полагал, что у нее сто тысяч ливров годового дохода, — сказал граф.

— Ее муж, — продолжал де Марсе, — разошелся с ней и живет из экономии в полку; у него тоже ведь есть кое-какие долгишки, у нашего дорогого герцога! Да вы что, с неба свалились? Научитесь, как мы, знать долги своих друзей. Мадемуазель Диана (я полюбил ее за это имя), Диана д'Юкзель вышла замуж, имея в год шестьдесят тысяч франков личного дохода, а ее дом вот уже восемь лет поставлен на столь широкую ногу, что обходится ей теперь уже в двести тысяч франков; совершенно ясно, что все ее поместья заложены на сумму, намного превышающую их стоимость; в один прекрасный день ей придется подать сигнал бедствия, и ангел будет обращен в бегство... знаете кем? Судебным приставом, который не постесняется сцапать этого ангела, как он сцапал бы любого из нас.

— Бедный ангел!

— Да, голубчик! Жизнь в парижском раю — весьма дорогое удовольствие! Ведь ангелам приходится каждое утро белить себе щечки и крылышки, — добавил Растиньяк.

Так как д'Эгриньону уже не раз приходило на ум сознаться в денежных затруднениях своей дорогой Диане, то он даже содрогнулся, вспомнив, что успел задолжать шестьдесят тысяч франков и что вот-вот получит счета еще тысяч на десять. Он уехал опечаленный. Ему не удалось скрыть своей озабоченности от друзей, которые, сидя за обедом, говорили друг другу:

— Кажется, этот мальчишка д'Эгриньон уже завяз. Нет у него парижской закалки; еще, чего доброго, пустит себе пулю в лоб! Да он просто глуп... и т. д.

Однако молодой граф быстро утешился. Камердинер подал ему два письма. Первое было от Шенеля. Не вскрывая конверта, Викторньен почувствовал, как от него отдает ворчливой преданностью и прописными истинами; он оставил его в неприкосновенности до вечера. Взявшись за второе, он с глубоким удовлетворением прочел исполненные чисто цicerоновского пафоса риторические периоды дю Круазье, который, как Сганарель перед Жеронтом ^[19], на коленях умолял молодого графа не оскорблять его в дальнейшем предварительным внесением денег под те векселя, которые молодой граф соблаговолит выдать на него. Письмо это заканчивалось фразой, до того напоминавшей кассу, полную золотых монет и открытую услугам знатного рода д'Эгриньонов, что Викторньен повторил жест Сганареля, Маскариля ^[20] и всех тех, кто считает, что деньги не пахнут. Убедившись, что отныне он может пользоваться неограниченным кредитом у братьев Келлер, граф весело распечатал письмо Шенеля; однако вместо ожидаемых им четырех мелко исписанных страниц, полных всевозможных назиданий (казалось, он уже видит слишком знакомые слова об осторожности, чести, достойном поведении и т. д., и т. д.), молодой человек нашел всего несколько строк. Он прочел их, и голова у него пошла кругом. Вот они:

«Ваше сиятельство!

От всего моего состояния осталось лишь двести тысяч франков; умоляю Вас не выходить за пределы этой суммы, если Вы сообразоволяете принять ее от преданнейшего слуги Вашего семейства, каковым с почтением и остаюсь

Шенель».

— Этот старик — герой из Плутарха, — сказал себе Викторньен, бросая письмо на стол. Его охватила досада; перед лицом такого великодушия он почувствовал свое ничтожество.

— Да, пора исправиться, — решил он.

Вместо того чтобы пообедать в ресторане, где он тратил каждый раз от пятидесяти до шестидесяти франков, молодой человек решил сэкономить эти деньги, пообедав у герцогини де Мофриньез; он рассказал ей историю с письмом.

— Мне бы хотелось увидеть этого человека, — сказала она, и глаза ее при этом засверкали, как две неподвижные звезды.

— А зачем он вам?

— Я поручила бы ему вести мои дела.

Диана была восхитительно одета, ей захотелось оказать честь Викторньену, который был обворожан той легкостью, с какой она относилась к своим делам, вернее, к своим долгам.

Затем красивая парочка отправилась в Итальянскую оперу. Никогда еще эта обольстительная красавица не казалась столь воздушной, столь близкой к небесам. Никто из сидевших в зале не поверил бы, что ее долги достигли той цифры, которую де Марсе утром назвал молодому графу. Никакие земные заботы, казалось, не могли омрачить это прекрасное чело, дышавшее достоинством самых высоких и непоколебимых женских добродетелей. Ее томная мечтательность если и могла быть отблеском земной любви, то лишь той, какую она целомудренно в себе подавила. Большинство мужчин готово было держать пари, что Викторньена до сих пор водят за нос, тогда как женщины были уверены в падении их соперницы; они втайне восхищались ею, как Микеланджело втайне восхищался Рафаэлем. Одна уверяла, что Викторньен любит Диану за ее золотые волосы, ибо во всей Франции нет подобных; другая считала главным достоинством герцогини удивительную белизну кожи, ибо сложена она, как всем известно, отвратительно, только что одеться умеет; третьи находили, что д'Эгриньон любит Диану за восхитительные ножки — единственное, что в ней есть хорошего, так как фигура у нее плоская, как доска. Но, что особенно ярко рисует парижские нравы, — мужчины все наперебой утверждали, будто роскошную жизнь д'Эгриньона оплачивает герцогиня, а женщины весьма прозрачно намекали на то, что, как выразился Растиньяк, крылышки этого ангела оплачивает Викторньен. Когда влюбленные возвращались из театра, молодой человек, гораздо больше встревоженный долгами герцогини, чем своими собственными, раз двадцать чуть не заговорил на эту тему, но слова тут же замирали у него на устах, когда он в неверном свете каретных фонарей бросал взгляд на это неземное создание, вызывавшее в другом те чувственные соблазны, которые ею самой всегда овладевали как бы против воли и после тяжелой борьбы с чисто ангельской непорочностью. Герцогиня была настолько умна, что не твердила на каждом шагу о своей добродетели и чистоте, как это делали подражавшие ей провинциальные львицы; она действовала гораздо искуснее: она внушала это без слов тому, ради кого приносила столь великие жертвы. Спустя полгода она все еще делала вид, что почитает смертным грехом самый невинный поцелуй руки, и с такой ловкостью заставляла добиваться ее милостей, что казалась после грехопадения еще больше ангелом, чем до него. Только парижанки умеют придавать всегда новую прелесть лунному свету и

романтичность — звездам, попадать в ту же трясину и выходить из нее все более очищенными и непорочными. В этом — высшая ступень утонченной парижской культуры. Женщины, живущие по ту сторону Рейна или Ла-Манша, сами верят в тот вздор, который несут; а парижанки заставляют верить в него своих любовников; они льстят их тщеславным чувствам и мыслям, чтобы сделать их счастливее. Некоторые лица пытались было умалить достоинства герцогини, уверяя, что она первая попадает в собственные сети. Но это низкая клевета! Герцогиня не верила никому и ничему, кроме самой себя!

В начале зимы 1823/24 года за Викторньеном в банке братьев Келлеров числилось двести тысяч франков долга, о котором ни Шенель, ни мадемуазель Арманда и не подозревали. Чтобы скрыть источник, откуда он черпал средства, Викторньен время от времени просил Шенеля выслать ему тысячи две экию; он писал лживые письма отцу и тетке, оба были счастливы и спокойны за него и, подобно большинству счастливых людей, не подозревали, что они обмануты. Только один человек знал тайну ужасной катастрофы, уготованной знатному и славному роду по вине его отпрыска, очарованного соблазнами парижской жизни: проходя вечером мимо Музея древностей, дю Круазье радостно потирал руки, предвкушая скорое достижение своей цели. Цель эта была уже не столько разорение, сколько бесчестие семьи д'Эгриньонов, и он инстинктом ненависти угадывал, что роковой час близится. Дю Круазье окончательно убедился в этом, когда узнал, что молодой граф наделал таких долгов, бремени которых ему не выдержать. И тут дю Круазье, перейдя в наступление, начал с того, что нанес смертоносный удар самому ненавистному своему врагу — достойному Шенелю. Добрый старик жил на улице Беркай в доме с островерхой крышей и мощным двориком, вдоль стен которого росли кусты вьющихся роз, заглядывавшие в окна второго этажа. За домом лежал обыкновенный провинциальный садик, обнесенный сырой и мрачной оградой. Клумбы в нем были окружены бордюром из самшита. Серая аккуратная входная дверь с решетчатым окошечком и звонком не менее, чем вывеска, свидетельствовала о том, что «здесь проживает нотариус».

Было пять часов пополудни, старик отдыхал после обеда; он сидел перед камином в своем старом кресле, обитом черной кожей, натянув на ноги крашенные картонные сапоги, защищавшие его от жара. Шенель привык ставить ноги на каминную решетку и, помешивая угли, спокойно отдавался пищеварению после плотного обеда. Он любил хорошо покушать! Увы! Без этого маленького недостатка разве не был бы он более совершенным, чем дозволено быть человеку? Нотариус только что выпил чашечку кофе, и старушка домоправительница не спеша удалилась, унося поднос, на котором она уже больше двадцати лет подавала кофе; Шенель ожидал своих клерков, перед тем как отправиться играть в карты; он размышлял — не спрашивайте о ком и о чем: редкий день проходил без того, чтобы старик не говорил себе: «Где он? Что он делает?» — полагая, что Викторньен еще находится сейчас в Италии вместе с прекрасной герцогиней. Одной из самых больших радостей для людей, наживших себе состояние собственным трудом, а не получивших его по наследству, являются воспоминания о тех усилиях, которыми они его завоевали, и мечты о том, что они приобретут на скопленные ими денежки, причем глагол «иметь» спрягается тогда во всех временах. И этот человек, все чувства которого слились в одну-единственную привязанность, испытывал двойное наслаждение при мысли о том, что приобретенные им с такими трудами земли, столь тщательно выбранные и возделанные, когда-нибудь увеличат достояние рода д'Эгриньонов. Удобно устроившись в старом кресле, он предавался радостным надеждам и смотрел то на сооружение из раскаленных углей, воздвигнутое его щипцами, то на встающие перед его мысленным взором картины будущего благосостояния д'Эгриньонов, возрожденного с его помощью. Представляя себе молодого графа счастливым, он испытывал глубокое удовлетворение от того, что сделал это счастье целью своей жизни. Шенель был не лишен ума, и не одно только слепое чувство руководило его

беспредельной преданностью, у него была своя гордость; он походил на тех аристократов, которые, восстанавливая колонны в старинных соборах, оставляют на них свои имена; так и он навеки вписывал свое имя в семейные предания д'Эгриньонов. Пусть в них говорится и о старике Шенеле.

Но тут его размышления прервала домоправительница, вошедшая с испуганным и растерянным видом.

— Где-нибудь горит, Бригитта? — шутливо осведомился Шенель.

— Вроде того, — ответила она. — Пришел господин дю Круазье, желает поговорить с вами.

— Господин дю Круазье! — повторил старик, и ледяное острие подозрения так мучительно кольнуло его в сердце, что он выронил из рук щипцы. «Господин дю Круазье, — подумал он, — наш главный враг — здесь!»

А дю Круазье уже входил, крадучись, словно кот, почуявший сливки. Он вежливо поклонился, сел в предложенное нотариусом кресло и предъявил счет на двести двадцать семь тысяч франков, включая проценты: это была сумма, выданная Виктюрье по переводным векселям за его, дю Круазье, счет. Теперь он требовал уплаты, грозя немедленным преследованием будущего наследника д'Эгриньонов по всей строгости закона. Шенель, растерянно перебирая векселя, умолял врага прежде всего сохранить все это в тайне. И враг обещал молчать, если ему будет заплачено в течение сорока восьми часов. Он крайне стеснен в деньгах, ему пришлось выручить местных фабрикантов... Словом, дю Круазье пустил в ход все те выдумки, которыми, однако, нельзя обмануть ни людей, просящих займы, ни нотариусов. Старик смотрел на него потухшим взглядом, он едва сдерживал слезы: ведь заплатить этот долг он мог, только заложив свои земли за остаток их стоимости. Узнав, с какими трудностями связано для Шенеля возмещение денег, дю Круазье как будто забыл о своих стесненных обстоятельствах и вдруг предложил нотариусу купить у него имение. Продажа была оформлена в два дня. Не мог же бедняга Шенель допустить, чтобы его любимец угодил за долги на пять лет в тюрьму! Итак, через несколько дней у нотариуса уже не оставалось ничего, кроме его домика, конторы и поступлений от клиентов. И вот обобранный Шенель ходил по своему кабинету, обшитою мореным дубом, смотрел на балки из каштанового дерева с узорной нарезкой, на вьющиеся растения у окон, не думая уже ни о фермах, ни о своей любимой загородной усадьбе Жард.

— Что ожидает мальчика? Нужно вернуть его домой и женить на богатой наследнице, — говорил себе Шенель, шагая по комнате; глаза у него были тусклые, голова тяжелая.

Нотариус не знал, как приступить к разговору с мадемуазель Армандой, в каких выражениях сообщить ей ужасную новость. Человек, только что уплативший из своего кармана долги Виктюрье, чтобы спасти честь дорогой ему семьи, страшился заговорить об этом деле. Направляясь с улицы Беркай в особняк д'Эгриньонов, бедный старик трепетал, как молодая девушка, которая убегает из родительского дома, предчувствуя, что она вернется туда в отчаянии, с ребенком на руках. А мадемуазель Арманда только что получила от племянника очаровательное и лицемерное письмо; судя по этому письму, можно было считать молодого графа счастливейшим человеком в мире. Побывав с герцогиней де Мофриньез на водах и в Италии, он прислал тетке дневник своего путешествия. Каждая фраза дышала любовью к г-же де Мофриньез. То он живописал Венецию, то восторженно рассказывал о шедеврах итальянского искусства, то восхищался Миланским собором или Флоренцией; тут он рисовал картины Апеннин, сравнивая их с Альпами, там — деревушку вроде Кьявари, где все создано для счастья. Бедная мадемуазель Арманда была так очарована, что ей виделось, как над этими местностями, где он любил, витает ангел, придающий своей нежностью этим красотам пламенный оттенок. Она упивалась письмом племянника, как должна упиваться такими письмами добронравная

девица, созревшая в приглушенном зное подавленных страстей и с неизменной радостью приносящая в жертву все свои желания на алтарь семейной жизни. Нет, Арманда не была похожа на ангела, как герцогиня, она напоминала те пожелтевшие от времени прямые, тоненькие и стройные статуэтки, которые удивительные ваятели прошлого расставили некогда в сырых нишах соборов и у подножья которых вырастают вьюнки, распускаясь в один прекрасный день над их головой нежным голубым колокольчиком.

В эту минуту именно такой колокольчик распускался на глазах у непорочной девицы: мадемуазель Арманда лелеяла в своем воображении молодую пару, она не считала предосудительной любовь замужней женщины к Виктюрье, хотя, будь это другой, при любых обстоятельствах осуждала бы ее; но Арманда сочла бы просто преступлением, если бы герцогиня не воспылала страстью к ее племяннику. Тетки, матери и сестры создают для своих племянников, сыновей и братьев особые законы.

Итак, Арманда мысленно перенеслась в Венецию, видела себя среди волшебных дворцов, которые высятся вдоль Большого канала и словно построены руками фей. Она плыла в гондоле с Виктюрье, и он рассказывал ей о том, какое счастье чувствовать в своей руке нежную руку герцогини, быть любимым ею и скользить по каналам этого города, этой царицы — возлюбленной итальянских морей. Но ее небесное блаженство было внезапно нарушено: в конце аллеи показался Шенель. Увы! Песок хрустел у него под ногами, как тот песок, который высыпает из своих роковых часов неумолимая смерть, попирая его босой костлявой пятой! Этот зловещий шорох и лицо Шенеля, полное безнадежного отчаянья, вызвали у старой девицы мучительное волнение, какое испытывает человек, вынужденный вдруг вернуться из царства грез к печальной действительности.

— Что случилось? — воскликнула она, словно пораженная прямо в сердце.

— Все погибло! — ответил Шенель. — Если мы не вмешаемся, молодой граф обесчестит семью.

Он показал ей векселя и описал те муки, которые пережил за последние четыре дня; его слова были скупы, но трогательны и решительны.

— Несчастный! Он нас обманывал! — воскликнула мадемуазель Арманда, сердце которой чуть не разрывалось от волнения.

— Скажем наше *mea culpa*^[21], мадемуазель, — твердо продолжал старик, — это вы приучили его своевольничать; ему нужен был строгий наставник, которым не могли быть ни вы, ибо вы девица, ни я, которого он ни в грош не ставил. Увы — он рос без матери.

— Какой-то рок тяготеет над знатными семьями, приходящими в упадок, — прошептала мадемуазель Арманда, и глаза ее наполнились слезами.

В эту минуту они увидели маркиза. Старик возвращался с прогулки, держа в руках письмо сына, которое тот написал ему по возвращении из путешествия; граф рассказывал отцу о своих успехах в аристократическом обществе Италии. Виктюрье был принят в лучших домах Генуи, Турина, Милана, Флоренции, Венеции, Рима. Неаполя; он, конечно, был обязан этим лестным приемом своему древнему имени, а отчасти и герцогине. Словом, он там появился во всем блеске, как и подобает настоящему д'Эгриньону.

— Могу тебя порадовать, Шенель, — обратился маркиз к нотариусу.

Мадемуазель Арманда сделала знак Шенелю — в нем были и ужас, и горячая мольба, — и старик нотариус все понял. Пусть этот несчастный отец — лучший образец рыцарской чести — умрет, сохранив свои иллюзии. Шенель молча склонил голову, и между великодушным нотариусом и благородной девушкой был заключен договор молчания и верности.

— Да, Шенель, — продолжал маркиз, — все-таки д'Эгриньоны не так путешествовали по Италии в пятнадцатом веке, когда маршал Тривульций служил Франции под началом одного из

д'Эгриньонов, которому был подчинен также и Баярд^[22]; другие времена, другие нравы. Впрочем, герцогиня де Мофриньез стоит маркизы де Спинола.

И маркиз, оседлав своего любимого конька, пустился в генеалогические изыскания с таким фатоватым видом, словно он сам был когда-то любовником маркизы де Спинола, а теперь обладал герцогиней де Мофриньез.

Когда удрученные союзники, сидевшие рядом на скамье и терзаемые теми же думами, остались одни, они долго не могли заговорить о том, что их мучило, и обменивались лишь отрывочными фразами, глядя вслед счастливому отцу, который удалялся, жестикулируя и, видимо, рассуждая сам с собой.

— Что будет с Виктюрньеном? — проговорила наконец мадемуазель Арманда.

— Дю Круазье отдал Келлерам распоряжение, чтобы они больше не выдавали ему денег без надлежащих документов, — ответил Шенель.

— У него, верно, есть еще долги, — продолжала мадемуазель Арманда.

— Боюсь, что да.

— Если ему неоткуда будет взять денег, что он сделает?

— Страшусь даже подумать...

— Необходимо вырвать его из этой среды, привезти сюда, иначе он бог знает до чего дойдет.

— Именно — бог знает до чего... — угрюмо повторил Шенель.

Мадемуазель Арманда не поняла, — она еще не могла понять зловещего смысла этих слов.

— Как спасти его от этой женщины, от герцогини, которая, может быть, и увлекает его на дурной путь?

— Чтобы не расставаться с ней, он пойдет даже па преступление, — сказал Шенель, ища менее жестоких слов для слишком жестокой мысли.

— Преступление! — повторила мадемуазель Арманда. — Ах, Шенель, только вам может прийти в голову такая мысль, — добавила она, метнув на него гневный и грозный взгляд, один из тех женских взглядов, которые, кажется, могут испепелить даже богов. — Дворяне способны только на одно преступление — и это государственная измена, за которую им, как и королям, отрубают голову на обтянутом черным сукном эшафоте.

— Теперь совсем другие времена, — сказал Шенель, покачав головой, которая, по милости Виктюрньена, окончательно облысела. — Наш король-мученик умер не так, как Карл Английский.

Это замечание успокоило гордый гнев аристократки; она содрогнулась, все еще не в силах поверить Шенелю.

— Завтра мы решим, что делать, — сказала она, — нужно все обдумать. На случай беды, у нас еще есть поместье.

— Да, — отозвался Шенель, — ведь вы с маркизом разделились, бóльшая часть принадлежит вам, и вы можете заложить ее, ничего ему не говоря.

В этот вечер мужчины и дамы, игравшие в гостиной маркиза в вист, реверси, бостон, триктрак, заметили на обычно спокойном и ясном лице мадемуазель Арманды какое-то волнение.

— Бедная великодушная девочка! — заметила старуха маркиза де Катеран. — Она, верно, все еще страдает. Женщина не может предвидеть заранее, на что она обрекает себя, жертвуя всем ради семьи.

На другой день, посоветовавшись с Шенелем, мадемуазель Арманда решила ехать в Париж спасти племянника от гибели. Кто, как не женщина, любящая Виктюрньена, словно родная мать, могла вырвать его оттуда? Мадемуазель Арманда решила повидать герцогиню де

Мофриньез и открыть ей правду. Однако, чтобы оправдать эту поездку в глазах маркиза и всего города, нужен был предлог. Мадемуазель Арманда пренебрегла своей стыдливостью добродетельной девицы и дала понять, что она больна и нуждается в советах искусных и знаменитых врачей. Одному богу известно, какие сплетни пошли на этот счет. Но что могла значить для мадемуазель Арманды ее личная честь, когда на карту была поставлена честь семьи! Она уехала. Шенель принес ей свой последний кошелек с луидорами, она взяла его так же равнодушно, как взяла свою белую шляпку и ажурные митенки.

«Благородная душа! Сколько в ней мягкости!» — думал Шенель, усаживая ее в экипаж вместе с горничной в сером платье, похожей на монахиню.

Дю Круазье подготовил свое мщение с той расчетливостью, с какой истый провинциал рассчитывает все. Только дикари, крестьяне и жители провинции способны так хитро и всесторонне обдумать свои дела; поэтому, когда они от мысли переходят к делу, они действуют наверняка. Дипломаты — просто младенцы в сравнении с этими тремя классами «млекопитающих», у которых времени хоть отбавляй, тогда как его совершенно не хватает людям, вынужденным думать сразу о множестве вещей, все направлять и все предвидеть в великих деяниях человеческих. Трудно сказать, изучил ли дю Круазье сердце бедного Виктюрье на настолько, что предугадал, с какой легкостью тот попадет в расставленные сети, или он воспользовался случаем, которого терпеливо ожидал в течение многих лет. Но одна подробность свидетельствует о том, что удар был подготовлен довольно искусно. Кто держал дю Круазье в курсе денежных дел молодого графа? Братья Келлер? Или сын председателя дю Ронсере, изучавший право в Париже? Достоверно одно: как только дю Круазье убедился, что герцогиня де Мофриньез находится в крайности, а граф д'Эгриньон впал в безысходную нужду, хотя до сих пор еще искусно скрывает ее, он написал Виктюрье письмо, уведомляя его о том, что запретил Келлерам отныне выдавать ему какие бы то ни было суммы. А несчастный молодой человек в это время всячески изощрялся, чтобы слыть живущим в роскоши! В письме, извещавшем жертву дю Круазье о том, что братья Келлеры отныне не будут выдавать денег без надежного обеспечения, между преувеличенно почтительными заверениями и подписью был оставлен довольно большой пробел. Отрезав эту часть письма, можно было без особого труда сделать из нее переводный вексель на любую сумму. Дьявольское послание дю Круазье кончалось на третьей странице, четвертая оставалась чистой. Оно пришло в ту минуту, когда Виктюрье охватило глубочайшее отчаяние. После двух лет самой радостной, сладостной, самой беззаботной и роскошной жизни он стоял теперь перед угрозой неумолимой нужды и полной невозможности достать денег. Путешествие его закончилось не без денежных затруднений. Графу удалось с большим трудом и при помощи герцогини выжать кое-какие суммы из парижских банкиров. Теперь эти долги вставали перед ним в виде беспощадных векселей, неумолимых требований банков и угрозы коммерческого суда. Среди последних наслаждений несчастному юноше казалось, что его вот-вот коснется острием своей шпаги Командор. В разгаре кутежей он уже слышал, подобно Дон-Жуану, тяжкую поступь статуи, поднимавшейся по лестнице. Его пронизывало невыносимой дрожью злое сирокко неоплаченных долгов. Спасти его мог только случай. До сих пор он в лотерее жизни всегда выигрывал, и в течение пяти лет его кошелек был всегда полон. Виктюрье утешал себя тем, что после Шенеля явился дю Круазье, а после дю Круазье откроется еще какая-нибудь золотая жила. Кроме того, он нередко выигрывал крупные суммы за зеленым столом. Игра уже не раз спасала его от рискованных шагов. Но часто, в пылу безрассудной надежды, он устремлялся в «Клуб иностранцев» и там спускал все, что выиграл в вист в своем клубе или в светской гостиной. Жизнь его, вот уже два месяца, напоминала бессмертный финал моцартовского «Дон-Жуана»! Этот финал должен вызывать содрогание у молодых людей, попавших в такие же тиски,

как Викторнъен. Ничто не может лучше раскрыть великую силу музыки, чем это вдохновенное воспроизведение ужаса и тревог, порождаемых жизнью, отданной сладострастью, чем эта страшная картина души, жаждущей забыться и забыть о своих долгах, о поединках, обманах, неудачах. Здесь Моцарт является счастливым соперником Мольера. Грозный финал, огненный, мощный, полный отчаянья и ликованья, ужасных призраков и манящих женских образов, в котором мы слышим трепет последних порывов страстей, воспламененных вином и яростным инстинктом самосохранения, весь этот демонический и вдохновенный спектакль разыгрывался сейчас в душе Викторнъена! Он видел себя одиноким, покинутым, без друзей, а впереди ему мерещилась могильная плита, где, как в конце захватывающей книги, начертано было слово: «Конец». Да, да, все для него кончено! Он заранее представлял себе тот холодный и насмешливый взгляд, ту злорадную улыбку, с которой приятели встретят весть о его разорении! Теперь Викторнъен отлично знал, что из всех тех, кто рисковал крупными суммами за карточными столами, которые в Париже найдешь повсюду — на бирже, в клубах, в гостиных, — никто не пожертвует хотя бы мелкой ассигнацией, чтобы спасти друга. Шенель, верно, уже ничего не имеет: он, Викторнъен, сам разорил его. И в то время как граф улыбался герцогине, сидя рядом с нею в Итальянской опере в ее ложе, на виду у всего зала, завидовавшего счастью этой парочки, сердце юноши раздирали фурии. Чтобы понять, в какую пропасть сомнения, отчаяния и безнадежности он был ввергнут, достаточно сказать, что юноша, столь горячо любивший жизнь и готовый даже на низость, лишь бы сохранить ее, — ведь «ангел» делал эту жизнь такой прекрасной, — что этот сластолюбец и шалопай, недостойный имени д'Эгриньонов, поглядывал на свои пистолеты и подумывал о самоубийстве. Он, который не потерпел бы даже намека на оскорбление, осыпал себя самыми беспощадными упреками, которые человек может делать только самому себе.

Письмо дю Круазье Викторнъен бросил распечатанным на своей постели: когда Жозефен подал его, было девять часов утра и молодой граф еще спал. Накануне он был в Опере, хотя мебель была уже описана; Викторнъен провел часть ночи в тайном убежище сладострастья, где обычно встречался с герцогиней после придворных праздников, после самых блестящих балов, после самых пышных приемов. Любовники ничем не нарушали приличий. Убежищем их любви служила простая и убогая с виду мансарда, входя в которую герцогиня де Мофриньез волевым неволей наклоняла голову, увенчанную перьями или цветами. Но внутреннее убранство, наверно, было создано руками индийских пери. Прежде чем погибнуть, графу хотелось проститься с этим прелестным гнездышком: он сам его украсил, желая окружить герцогиню достойной ее поэзией; но отныне из волшебных яиц, разбитых налетевшей бурей, уже не выпорхнут белые голубки, яркие колибри, розовые фламинго и тысячи причудливых птиц, которые еще летают у нас над головой в последние дни нашей жизни. Увы! Еще три дня, и ему придется бежать, ибо истекал последний срок взысканий по векселям, которые он выдал ростовщикам. Вдруг в голове у него мелькнула чудовищная мысль: бежать с герцогиней, поселиться с ней в каком-нибудь неведомом уголке Северной или Южной Америки; но бежать, захватив состояние, а кредиторам оставить неоплаченные векселя. Для того чтобы осуществить этот план, достаточно было отрезать от письма дю Круазье ту часть, где стояла его подпись, превратить ее в вексель и предъявить Келлерам. В душе Викторнъена произошла тяжелая внутренняя борьба, во время которой он пролил немало слез; дворянская честь на этот раз восторжествовала, но очень относительно. Викторнъен решил подвергнуть проверке чувство своей прекрасной Дианы и поставил осуществление своего плана в зависимость от ее согласия на бегство. Он направился к герцогине на улицу Фобур-Сент-Оноре; Диана была в одном из тех кокетливых negligé, которые стоили немалых денег и забот, зато позволяли ей уже с одиннадцати часов изображать ангела.

Госпожа де Мофриньез была несколько задумчива: ее мучили те же заботы, что и Виктюрье́на, но она переносила их мужественно. Среди многообразных женских характеров, описанных физиологами, один особенно опасен: женщинам этого типа присущи необычная душевная сила, беспощадная трезвость взгляда, дар быстрых решений и какая-то беззаботность, вернее способность с легкостью нарушить такие запреты, перед которыми остановился бы даже мужчина. Все это обычно бывает скрыто под личиной самой хрупкой и грациозной внешности. Этот тип женщин представляет собой сочетание, или, вернее, борьбу, двух начал, которые свойственны, по мнению Бюффона^[23], только мужчине. Остальные представительницы слабого пола обычно лишены этой двойственности. Если они нежны, если они матери, если они верны — так уж всей душой, если скучны и ничтожны — так уж всецело; их нервная система находится в согласии с их темпераментом, а темперамент — с их образом мыслей; но женщины, подобные герцогине, способны и на самую благородную, возвышенную чувствительность, и на самую низкую, эгоистическую жестокость. Одна из заслуг Мольера в том, что он превосходно описал, — правда, с одной только стороны, — такой тип женщины в образе, наиболее удавшемся ему и словно высеченном из мрамора, а именно — в образе Селимены^[24]. Селимена — воплощение аристократки, как Фигаро, это второе издание Панурга^[25], олицетворяет народ. Итак, изнемогая под бременем чудовищных долгов, герцогиня, совершенно как Наполеон, который мог по своей воле забывать о мучивших его мыслях и снова возвращаться к ним, приказала себе посвятить лишь несколько минут обрушившейся на нее лавине забот, с тем чтобы принять окончательное решение. Она умела как бы со стороны созерцать собственное крушение, вместо того чтобы поддаться ему и похоронить себя под обломками. Черта, конечно, удивительная, но если ее видишь в женщине — она пугает.

Зато то время, которое прошло между ее пробуждением, когда она собралась с мыслями, и той минуты, когда она принялась за свой туалет, герцогиня успела охватить внутренним взором размеры грозившей ей опасности и все возможности грандиозной катастрофы. Она перебрала в уме оставшиеся ей выходы: бежать за границу; броситься на колени перед королем и признаться в своих долгах; соблазнить какого-нибудь дю Тийе или Нусингена и уплатить долги, играя на бирже. Банкир-буржуа, давая ей золото, должен быть настолько догадлив, чтобы говорить о прибыли, а об убытках не упоминать, — подобная тактичность способна скрасить все. И эти возможности, и самая катастрофа были продуманы ею холодно, спокойно, бестрепетно. Подобно натуралисту, который, взяв самый прекрасный экземпляр семейства бабочек и пронзив его булавкой, укладывает в вату, г-жа де Мофриньез, уступая требованиям минуты, выбросила из сердца любовь, чтобы потом вернуться к своей высокой страсти, покоившейся на непорочно-белой вате. Не испытывая ничего похожего на те колебания, которые Ришелье открывал лишь отцу Жозефу, а Наполеон вначале таил от всего света, она сказала себе: «Одно из двух». Когда вошел Виктюрье́н, она сидела у камина и отдавала приказания относительно своего туалета: если погода позволит, она поедет в Булонский лес.

Несмотря на блестящие, хотя и неразвившиеся способности и острый ум, граф испытывал сейчас то, что надлежало бы испытывать этой женщине: сердце его отчаянно билось, нарядный денди покрылся испариной, он все еще не решался коснуться краеугольного камня своей жизни, ибо тогда рухнула бы пирамида их совместного существования. Он так боялся узнать правду! Самые смелые мужчины предпочитают обманывать себя в тех случаях, когда узнать правду — значит быть униженным и опозоренным, хотя бы только в собственных глазах! Наконец Виктюрье́н, чтобы положить конец колебаниям, обронил фразу, содержащую признание.

— Что с вами? — были первые слова Дианы де Мофриньез, которыми она встретила своего дорогого Виктюрье́на.

— Дело в том, дорогая Диана, что я попал в ужасное положение; утопающий, который уже захлебывается и идет ко дну, и тот счастливее меня.

— Перестаньте! — воскликнула она. — Пустяки! Какой вы еще ребенок! Ну, что такое? Говорите!

— Я окончательно запутался в долгах и прижат к стене.

— Только и всего? — отозвалась она, улыбаясь. — Денежные дела всегда можно так или иначе уладить; непоправимы только сердечные катастрофы.

Несколько успокоенный тем, что герцогиня сразу поняла его положение, Виктюрье развернул перед ней яркую картину своей жизни за два с половиной года, правда, с изнанки, но не без таланта, а главное — не без остроумия. Его рассказ был не лишен тех поэтических прикрас, на которые обычно пускаются люди в критические минуты, и он сумел придать ему блеск утонченного презрения к жизни и людям. Все это было в высшей степени аристократично. Герцогиня слушала, как она умела слушать. Одну ногу она поставила на скамеечку и оперлась локтем о колено; ее по-детски сплетенные пальчики охватили изящный подбородок. Диана отрываясь смотрела графу в глаза, в лазури ее глаз вспыхивали мгновенно сменявшиеся чувства, как зарницы между двух туч. Чело герцогини было спокойно, рот не улыбался, — в знак серьезности, внимания и любви, — губы беззвучно шевелились, как будто она повторяла слова возлюбленного. А если вас так слушают, вы готовы поверить, что душа слушательницы полна глубочайшей любви к вам. И когда граф предложил этой женщине, чье сердце неразрывно было соединено с его сердцем, бежать вместе, он не мог не воскликнуть:

— Вы ангел!

Ибо красавица ответила уже до того, как заговорила.

— Хорошо, хорошо, — сказала герцогиня, которая, вместо того чтобы отдаться порыву любви, изображаемой ею, погрузилась в какие-то комбинации, которые она хранила про себя, — но дело не во мне, друг мой... — («Ангел» забыл о самом себе.) — Подумаем о вас. Да, мы уедем, и чем раньше, тем лучше. Устройте все: я последую за вами. Хорошо покинуть Париж и свет! Я буду незаметно готовиться к отъезду, чтобы не подать никакого повода для подозрений.

Слова «я последую за вами» были произнесены так, как их в те времена произнесла бы мадемуазель Марс^[26], заставив вздрогнуть две тысячи зрителей. Когда герцогиня де Мофриньез предлагает торжественным тоном великую жертву любви, она уже уплатила все долги. Разве можно говорить с ней после этого о низменных подробностях? Виктюрье мог тем легче утаить способы, к каким хотел прибегнуть для выполнения своего намерения, что Диана предусмотрительно его не расспрашивала: она продолжала оставаться, по выражению де Марсе, «гостьей на увенчанном розами пиру», который каждый мужчина должен был ей уготовить. Виктюрье не желал уходить, пока она лаской не скрепит своего обещания: ему необходимо было почерпнуть в своем счастье мужество, чтобы дерзнуть на поступок, который будет, конечно, дурно истолкован; но он рассчитывал, — и это придало ему бодрости, — что тетка и отец так или иначе замнут «эту историю», он даже надеялся, что Шенель все-таки изобретет какой-нибудь выход. Впрочем, «эта история» являлась единственным способом занять денег под родовые поместья. Имея триста тысяч франков, любящая пара, скрывая от всех свое счастье, заживет в каком-нибудь венецианском дворце; там они позабудут весь мир! Они заранее рисовали себе эту романтическую жизнь вдвоем!

На другой день Виктюрье написал чек на триста тысяч франков и явился с ним к Келлерам. Келлеры уплатили, так как у них в это время имелись деньги на счете дю Круазье; но одновременно предупредили его письмом, чтобы он впредь не давал денежных распоряжений, не известив банк заранее. Дю Круазье, весьма удивленный, затребовал свой счет, который и был ему послан. Счет этот все ему объяснил: час мести пробил.

Как только в руках у Виктюрньена оказались деньги, он отнес их г-же де Мофриньез, а та заперла их в секретер и пожелала сказать миру последнее «прости», побывав еще раз в Опере. Виктюрньен был задумчив, рассеян, озабочен; он начинал отдавать себе отчет в содеянном. Вечер в ложе герцогини мог обойтись ему слишком дорого. Не лучше ли было бы, подумал он, надежно припрятав эти триста тысяч франков, сесть в почтовую карету, примчаться к Шенелю и открыться ему во всем? Но, уходя из театра, герцогиня бросила Виктюрньену восхитительный взгляд, так и горевший желанием еще раз побывать в их гнездышке, которое она так любила! Граф был слишком молод: он уступил и потерял еще ночь. На другой день он был в три часа в особняке Мофриньезов, чтобы получить от герцогини последнее распоряжение и среди ночи уехать с нею.

— А зачем нам уезжать? — сказала она. — Я много думала о вашем плане. Виконтесса де Босеан и герцогиня де Ланже бежали. Поэтому мое бегство будет слишком банальным. Давайте смело встретим грозу. Это будет гораздо красивее. И я уверена, что мы победим!

Виктюрньен едва не потерял сознание, ему показалось, что он весь изранен и истекает кровью.

— Что это с вами? — воскликнула прекрасная Диана, подметив в нем колебание, которого женщины не прощают.

Умный мужчина должен отвечать согласием на все капризы женщины и затем незаметно подсказывать ей мотивы для противоположного решения, делая вид, что это ее право — без конца менять свой выбор, мнения и чувства. В душе Виктюрньена впервые вспыхнул гнев, какой охватывает природы слабые и мечтательные: он подобен грозе с дождем и редкими вспышками молнии, но без раскатов грома. И граф обошелся весьма грубо с этим ангелом, которому верил и ради которого поставил на карту больше чем жизнь: честь своего рода.

Так вот к чему пришли мы после двух с половиной лет нежной любви! — воскликнула она. — Вы мне сделали больно, очень больно! Уходите прочь! Я больше не хочу вас видеть. Я-то думала, что вы меня любите, но теперь я вижу, что жестоко ошибалась.

Я вас не люблю?! — растерянно выговорил молодой человек, сраженный этим обвинением.

— Нет, не любите, сударь.

— Как вы можете это говорить! — воскликнул он. — Ах, если бы вы знали, что я совершил ради вас!

— А что такое вы совершили ради меня, сударь? — спросила она. — Как будто не ваш долг — сделать все для женщины, которая столько сделала для вас?

— Вы даже недостойны узнать это! — крикнул в бешенстве Виктюрньен.

— А!

После этого выразительного «А!» Диана опустила голову, подперла ее рукой и долго сидела так, холодная, неподвижная, неумолимая, как подобает ангелам, не разделяющим никаких человеческих чувств. Когда д'Эгриньон увидел зловещую позу своей возлюбленной, он позабыл о грозившей ему опасности. Разве он только что не оскорбил самое небесное создание в мире? Граф жаждал получить прощенье, он бросился к ногам Дианы де Мофриньез и, осыпая их поцелуями, плакал, умолял. Несчастный молодой человек пробыл у ног безмолвной герцогини два часа, но напрасно он безумствовал — лицо ее по-прежнему оставалось ледяным, и только время от времени по нему катились крупные слезы, которые она спешила тут же стереть, чтобы не дать осушить их недостойному любовнику. Герцогиня разыгрывала ту скорбь, которая придает женщинам величие и святость. За первыми двумя часами последовали еще два. Графу наконец удалось завладеть рукой Дианы, но рука была холодна и бездушна. Эта прекрасная рука, дарившая ему такие сокровища нежности, казалась теперь гибкой веткой дерева: она ничего не выражала; она не была ему дана, он сам схватил ее. Виктюрньен больше не ощущал в себе

жизни, перестал мыслить. Он не заметил бы солнца в небе. Что делать? Как поступить? Какое принять решение? В таких случаях мужчина способен сохранить хладнокровие, только если обладает такой же выдержкой, как тот каторжник, который, выкрав ночью золотые медали из Королевской библиотеки, явился утром к своему честному брату, чтобы их переплавить; когда брат спросил его: «Что нужно сделать?» — каторжник ответил: «Свари мне кофе». Но Виктюрье́н словно оцепенел, его мозг окутали волны мрака. Среди этой мглы, подобно образам Рафаэля, написанным на черном фоне, перед ним проплывали картины сладострастных ласк, с которыми он должен был теперь навеки распрощаться. А герцогиня, все с тем же презрительным и неумолимым выражением лица, играла концом своего шарфа и бросала гневные взгляды на Виктюрье́на; она кокетничала своими светскими воспоминаниями, называла любовнику его соперников, словно в гневе решила заменить кем-нибудь из них этого неблагодарного человека, способного в одно мгновение отречься от любви, продолжавшейся больше двух лет.

Ах, говорила она, уж конечно, этот прелестный молодой человек, Феликс де Ванденес, который так верен госпоже де Морсоф, не позволил бы себе подобной сцены: он-то в самом деле любит! А де Марсе, этот страшный де Марсе, которого все почитают таким жестоким, — он груб только с мужчинами, а всю свою утонченную нежность бережет для женщин. Да, Монриво погубил герцогиню де Ланже, как Отелло — Дездемону, но в порыве бешенства, доказывающем его безумную любовь; это хоть не так пошло, как обыкновенная ссора! Такая гибель даже приятна! Всем известно, что хилым, тщедушным блондинам нравится мучить женщин, они способны властвовать только над бедными слабыми созданиями и любят-то только для того, чтобы хоть в этом почувствовать себя мужчинами. Тиранство в любви — для них единственная возможность показать свою силу. Она сама не понимает, как могла подчиниться блондину! У де Марсе, Монриво, Ванденеса, у этих красавцев брюнетов, в глазах играет солнце!

На Виктюрье́на сыпался целый поток злых острот, и казалось, они проносятся со свистом, точно пули. Каждым своим словом Диана унижала, колола, ранила, как десять дикарей, когда они хотят хорошенько помучить привязанного к столбу врага.

Наконец граф, выведенный из терпения, воскликнул: «Да вы с ума сошли!» — и выбежал вон бог знает в каком состоянии! Он правил лошадьё так, точно никогда не держал в руках вожжей. Он задевал встречные экипажи, проезжая через площадь Людовика XV, налетел на тумбу и мчался, сам не зная куда. Его лошадь, не чувствуя вожжей, неслась по набережной д'Орсе прямо в свою конюшню. На углу улицы Университета кабриолет остановил Жозефен.

— Граф, — сказал перепуганный старик, — не извольте возвращаться домой, там пришли вас арестовать...

Виктюрье́н решил, что причина приказа об аресте — подложный чек, который, кстати сказать, еще не мог попасть в руки королевского прокурора, а не выданные им настоящие векселя. На самом деле они вот уже несколько дней переходили из рук в руки и теперь, благодаря стараниям коммерческого суда, выступили на сцену в сопровождении сыщиков, понятых, мировых судей, полицейских, жандармов и прочих представителей общественного порядка. Но, подобно большинству преступников, Виктюрье́н только после совершенного преступления подумал об опасных его последствиях.

— Я пропал! — воскликнул он.

— Да нет же, ваше сиятельство, поезжайте дальше, в гостиницу Лафонтена, что на улице Гренель. Там вы найдете мадемуазель Арманду; они приехали; лошади запряжены в карету, и барышня вас тотчас увезут.

В полной растерянности Виктюрье́н судорожно схватился за эту возможность спасения, словно утопающий за соломинку; он помчался в гостиницу, застал там тетку и кинулся ей на

шею. Она рыдала, точно кающаяся Магдалина, точно сама была соучастницей грехов, совершенных ее племянником. Они тотчас сели в карету и скоро очутились за Парижской заставой, на дороге, ведущей в Брест. Виктюрье, удрученный, хранил молчание. Когда тетка и племянник наконец были в силах заговорить друг с другом, между ними продолжалось то роковое недоразумение, из-за которого Виктюрье, забыв обо всем, бросился в объятия мадемуазель Арманды: он думал о своем подлоге, а тетка — о его долгах и векселях.

— Вы знаете все, тетушка, — сказал он.

— Да, бедное дитя мое, но мы здесь — и поможем тебе. Сейчас я не буду бранить тебя, ободрись.

— Меня нужно будет спрятать.

— Может быть... Да, это отличная мысль.

— Хорошо бы устроить так, чтобы мы приехали ночью и я мог незаметно войти в дом к Шенелю!

— Ты прав, нам тогда легче будет скрыть все от твоего отца. Бедный ангел, как он страдает! — промолвила она, лаская своего недостойного племянника.

— О, теперь я понимаю, что такое бесчестье! Оно охладило пыл моей любви.

— Несчастный мальчик! Столько счастья и столько страданий!

Мадемуазель Арманда прижимала пылающую голову Виктюрье к своей груди, целовала его лоб, влажный от испарины, несмотря на холод, как некогда жены-мироносицы лобзали чело Иисуса, обвивая его тело пеленами.

Блудный сын был, как он того и хотел, глубокой ночью доставлен в мирный дом Шенеля на улицу Беркай, но случаю было угодно, чтобы, явившись туда, он, как говорится, попал прямо волку в пасть. Шенель только что закончил переговоры о продаже своей конторы старшему клерку г-на Лепрессуара, который считался нотариусом либералов, так же как сам Шенель считался нотариусом аристократов. Молодой клерк принадлежал к довольно богатой семье, которая могла внести Шенелю солидный задаток в сто тысяч франков.

«Имея сотню тысяч франков, — говорил себе в эту минуту Шенель, потирая руки, — можно погасить немало долгов. Молодой человек, наверно, связался с ростовщиками, мы запрем его здесь, я сам отправлюсь в Париж и угомоню этих псов».

Шенель, честный, добродетельный, достойный Шенель, называл *псами* кредиторов своего обожаемого дитятки, графа Виктюрье!

Будущий владелец конторы на улице Беркай как раз выходил от Шенеля, когда коляска мадемуазель Арманды подъехала к дому. Вполне понятно, что в провинциальном городе появление коляски у дверей старика нотариуса, и притом в столь поздний час, не могло не вызвать любопытства молодого человека, который притаился в нише какой-то двери и увидел мадемуазель Арманду.

«Мадемуазель Арманда д'Эгриньон здесь? Глубокой ночью? Что же происходит у д'Эгриньонов?» — сказал он про себя.

Шенель встретил Арманду с довольно таинственным видом и прикрыл рукой ночник. Заметив Виктюрье, старик с первых же слов, сказанных ему на ухо мадемуазель Армандой, понял все; он окинул взглядом улицу, которая была тиха и безлюдна, затем сделал знак графу; тот выскочил из коляски и вбежал во двор, но — на свою гибель: убежище его было теперь известно преемнику Шенеля.

— Ах, ваше сиятельство! — воскликнул бывший нотариус, когда Виктюрье был водворен в комнату, дверь которой выходила в кабинет Шенеля и куда, следовательно, можно было проникнуть, только переступив через труп старика.

— Да, сударь, — отвечал молодой человек, поняв смысл этого восклицания своего старого

и преданного друга, — я вас не послушался и скатился на дно пропасти, где мне, видно, придется погибнуть.

— Нет, нет, — сказал старик, торжествующе взглянув на мадемуазель Арманду и графа. — Я продал свою контору. Я достаточно поработал и давно подумываю об отдыхе. Завтра в полдень у меня будут сто тысяч франков, а с такими деньгами можно многое уладить. Мадемуазель, — продолжал он, — вы, наверное, утомлены, садитесь-ка в коляску, поезжайте домой и ложитесь спать. Делами займемся завтра.

— А он в безопасности? — спросила Арманда, указывая на Виктюрье́на.

— Да, — ответил старик.

Тетка обняла племянника, уронив на его лоб несколько слезинок, и уехала.

— Добрый Шенель, что значат ваши сто тысяч франков в моем положении? — сказал граф старику нотариусу, когда они уселись и заговорили о делах. — Вы, видно, не знаете всей меры моих несчастий!

И Виктюрье́н рассказал обо всем. Шенель был сражен. Если бы не его беспредельная преданность, он, может быть, не вынес бы этого удара. Казалось, старик уже давно утратил способность плакать, но теперь из его глаз в два ручья бежали слезы. На несколько мгновений он стал как бы ребенком, им овладело безумие; так теряет разум человек, увидев, как горит его дом, как пламя охватывает колыбель его детей, когда он слышит потрескивание их пылающих волос. Затем Шенель встал, он словно вырос, — сказал бы Амио^[27], — воздел старческие руки и потряс ими в отчаянии и безумии.

— Пусть ваш отец сойдет в могилу, ничего не узнав, молодой человек! Довольно того, что вы дошли до подлога, не будьте же еще отцеубийцей! Бежать? Нет! Вас приговорят заочно. Несчастный юноша, почему вы не подделали мою подпись? Я-то ведь уплатил бы и не передал вексель прокурору! А теперь я бессилен. Вы меня живьем упрятали в могилу. Дю Круазье!.. Что делать? Как быть? Если бы вы убили кого-нибудь, это еще иногда прощается, но подлог! Подлог! А время, время-то летит, — проговорил он с отчаянием, указывая на свои старые стенные часы. — Теперь вам нужен фальшивый паспорт. Одно преступление влечет за собой другое. Необходимо... — продолжал он после короткой паузы, — необходимо прежде всего спасти честь рода д'Эгриньонов.

— Но ведь деньги-то остались у госпожи де Мофриньез! — вдруг воскликнул Виктюрье́н.

— А! — отозвался Шенель. — Тогда еще есть надежда, правда, очень слабая. Удастся ли нам смягчить дю Круазье, купить его? Он может получить, если захочет, все родовые земли д'Эгриньонов. Я пойду к нему, подниму его с постели, — предложу все, чего он захочет. Прежде всего скажу, что подлог совершил я, а не вы. Меня приговорят к каторжным работам, но я слишком стар, они могут только посадить меня в тюрьму.

— Но ведь вексель написан моей рукой, — сказал Виктюрье́н, ничуть не удивленный этой безрассудной преданностью.

— Глупец!.. Простите, господин граф. Надо было заставить Жозефена написать вексель, — воскликнул старик в бешенстве. — Он славный малый и взял бы все на себя. А теперь — конец, все рухнуло, — продолжал Шенель и, обессиленный, опустился на стул. — Дю Круазье жесток, как тигр, остережемся будить его. Который час? Где вексель? В Париже его можно было бы выкупить у Келлеров, они пошли бы на это. Ах, в таком деле каждый пустяк может погубить нас! Один неверный шаг, и мы пропали. Во всяком случае, нужны деньги. Слушайте, никто не знает, что вы здесь, спрячьтесь хоть в погреб, если надо. Я же еду в Париж, немедленно... Слышите, как раз подходит почтовая карета из Бреста.

В один миг к старику вернулись все силы молодости, живость, энергия: он быстро собрал в дорогу нужные вещи, взял деньги, затем схватил со стола шестифунтовый хлеб, отнес его в

соседнюю каморку и, втолкнув туда своего приемного сына, запер дверь на ключ.

— Ни звука, — сказал он ему, — сидите тут до моего возвращения; по вечерам не зажигайте огня, или вас ждет каторга! Вы меня поняли, господин граф? Да, каторга, если кто-нибудь в городе проведает, что вы здесь.

Шенель вышел из дома, наказав домоправительнице говорить всем, что он болен, никого не принимает, всех выпроваживать и отложить все дела на три дня. Затем он отправился к почтмейстеру, наплел ему целую романтическую историю — у него в данном случае оказался даже дар романиста — и добился обещания, что, если в карете окажется место, его возьмут без подорожной и что его внезапный отъезд будет сохранен в тайне. К счастью, почтовая карета прибыла пустой.

Приехав в Париж следующей ночью, нотариус в девять часов утра уже был у Келлеров; там он узнал, что роковой чек три дня как возвращен дю Круазье; выясняя все это, он не обмолвился ни одним словом, которое могло бы скомпрометировать графа. Перед тем как уйти из банкирской конторы, он спросил, нельзя ли, возместив сумму долга, получить чек обратно. Франсуа Келлер ответил, что владельцем документа является дю Круазье и он волен оставить его у себя или вернуть. Тогда нотариус в отчаянии отправился к герцогине. В столь ранний час она никого не принимала. Но Шенелю была дорога каждая минута; он сел в прихожей, набросал несколько строк и, прибегая то к подкупу, то к строгости, то к уговорам, все-таки заставил наглых и неприступных слуг герцогини передать ей записку.

Хотя г-жа де Мофриньез еще лежала в постели, она, к удивлению всей челяди, приняла у себя в спальне чудного старика в черных коротких штанах, шерстяных чулках и башмаках с пряжками.

— Что случилось, сударь? — спросила она, привставая с подушек, в своем пленительном неглиже. — Чего он хочет от меня, этот неблагодарный?

— Случилось то, ваша светлость, — воскликнул добряк, — что у вас находятся наши сто тысяч экю!

— Да, — отозвалась она, — так в чем же дело?

— Эта сумма получена с помощью подлога, из-за которого наш граф может угодить на каторгу, а совершил он этот подлог из любви к вам, — торопливо говорил Шенель. — Как вы, столь умная женщина, не догадались? Вместо того чтобы бранить молодого человека, вам следовало расспросить его да вовремя удержать и спасти от беды. А теперь дай бог, чтобы несчастье оказалось поправимым! Нам понадобится все ваше влияние при дворе.

С первых же слов, объяснивших ей, в чем дело, герцогине стало стыдно за свое отношение к столь пылкому любовнику; она испугалась также, как бы ее не обвинили в соучастии. Желая показать, что она и не коснулась этих денег, Диана пренебрегла всеми приличиями, хотя, впрочем, не считала нотариуса за мужчину: резким движением сбросив с себя пуховую перинку, она кинулась к секретеру, мелькнув мимо Шенеля, точно ангел на виньетке к стихам Ламартина, и, протянув ему сто тысяч экю, сконфуженно юркнула опять в постель.

— Вы — ангел, сударыня, — сказал Шенель (видно, такова уж была ее судьба — всем казаться ангелом!). — Но это еще не все, — прибавил он, — я рассчитываю на вашу помощь, чтобы спасти нас.

— Спасти вас? Я добьюсь этого или сама погибну! Как же сильно нужно любить, чтобы решиться на преступление! Ради какой женщины совершались подобные дела? Бедный мальчик! Спешите домой, не теряйте времени, милый господин Шенель. Положитесь на меня, как на самого себя.

— Ах, ваша светлость! Ваша светлость! — только и в силах был выговорить бедный старик, так он разволновался. Он плакал, он готов был плясать, но побоялся сойти с ума и взял себя в

руки.

— Теперь мы еще посмотрим, чья возьмет! Мы спасем его! — сказал он, уходя.

Затем Шенель поспешил к Жозефену, который отпер ему секретер и письменный стол Виктюрньена, где хранились документы молодого графа; старик, к счастью, нашел там несколько писем от дю Круазье и от Келлеров, которые могли пригодиться. Затем он сел в дилижанс, уже готовый к отходу. Он щедро заплатил почтальонам, и тяжелая колымага помчалась со скоростью почтовой кареты, а так как с ним ехало двое пассажиров, спешивших не меньше, чем он, то они решили даже пообедать, не выходя из экипажа. Дорога словно неслась им навстречу, и нотариус, пробыв в отлучке три дня, снова очутился дома на улице Беркай. Хотя было еще только одиннадцать часов вечера, Шенель понял, что прибыл слишком поздно: у входа стояли жандармы, а когда нотариус подошел ближе, то увидел, что по двору ведут молодого графа, — он был арестован. Будь это в его власти, старик, конечно, убил бы всех представителей правосудия и солдат, но он мог только кинуться на шею Виктюрньену.

— Если мне не удастся замять дело, вам придется, не дожидаясь обвинительного заключения, покончить с собой, — прошептал Шенель ему на ухо.

Виктюрньен был так ошеломлен, что только посмотрел на старика, не понимая его.

— Покончить с собой? — переспросил он.

— Да! Если у вас не хватит храбрости, мой мальчик, рассчитывайте на меня, — сказал Шенель, сжимая ему руку.

Несмотря на боль, которую в нем вызывало это зрелище, он продолжал стоять среди двора, едва держась на дрожащих ногах, и смотрел, как его любимое дитя, графа д'Эгриньона, наследника столь славного рода, уводят жандармы в сопровождении полицейского комиссара, мирового судьи и судебного пристава. Решительность и самообладание вернулись к старику лишь тогда, когда эта группа скрылась из виду, смолк шум их шагов и на улице снова воцарилась тишина.

— Сударь, вы схватите насморк, — сказала Бригитта.

— Чтоб тебя черт побрал! — нетерпеливо крикнул старик.

Бригитта, которая за двадцать девять лет службы у Шенеля не слышала по своему адресу ничего подобного, выронила свечку; но, не обращая внимания на ужас домоправительницы, даже не расслышав ее возмущенного восклицания, нотариус пустился бежать на улицу Валь-Нобль.

«Спятил! — сказала себе Бригитта. — Да, признаться, и есть отчего. Куда его понесло? Разве его теперь догонишь? А что с ним будет? Уж не топиться ли побежал?»

Бригитта разбудила старшего клерка и послала его на берег реки, получивший печальную славу после самоубийства молодого человека, подававшего блестящие надежды, и недавней гибели соблазненной девушки. А Шенель спешил к дому дю Круазье. Там была его последняя надежда. Подлоги преследуются судом только по жалобе пострадавших лиц. Если бы дю Круазье согласился, жалобу можно было объяснить недоразумением; Шенель все еще надеялся купить этого человека.

В этот вечер у супругов дю Круазье собралось гораздо больше гостей, чем обычно. Хотя председатель суда дю Ронсере, первый помощник королевского прокурора Соваже и бывший хранитель ипотек дю Кудре, удаленный от должности потому, что голосовал не за того, за кого следовало, решили держать дело графа д'Эгриньона в тайне, но г-жа дю Ронсере и г-жа дю Кудре по секрету разболтали о нем одной или двум из своих ближайших приятельниц. И новость быстро распространилась среди того полудворянского-полубуржуазного общества, которое обычно собиралось у дю Круазье. Каждый сознавал серьезность этого дела и не решался заговорить о нем открыто. Кроме того, приверженность г-жи дю Круазье к высшей аристократии

была настолько общеизвестна, что гости, горевшие желанием узнать подробности беды, обрушившейся на семью д'Эгриньонов, едва решались перекинуться вполголоса двумя-тремя словами. Лица, наиболее заинтересованные, ждали той минуты, когда г-жа дю Круазье удалится в свою спальню, чтобы там, вдали от критического ока мужа, предаться перед сном своим религиозным обязанностям. Едва хозяйка дома удалась, как приверженцы дю Круазье, знавшие о тайных замыслах этого видного промышленника, окинули взором присутствующих, но, заметив в гостиной несколько лиц, чьи мнения и интересы внушали им подозрения, продолжали играть в карты. Около половины двенадцатого остались только ближайшие приятели дю Круазье — Соваже, судебный следователь Камюзо с женой, супруги Ронсере, их сын Фабиен, супруги дю Кудре и Жозеф Блонде, старший сын старика судьи — всего десять человек.

Рассказывают, что Талейран, сидя в некую роковую ночь за картами у герцогини де Люинь, в три часа утра прервал игру, положил на стол часы и обратился к остальным игрокам с вопросом, есть ли у принца де Конде еще дети, кроме герцога Энгиенского^[28].

— Зачем вы спрашиваете о том, что вам и так хорошо известно? — отозвалась г-жа де Люинь.

— Затем, что если у принца больше нет детей, то род де Конде прекратился.

Воцарилось минутное молчание; затем игра продолжалась. Жест Талейрана повторил и дю Ронсере, — потому ли, что знал этот эпизод из современной истории, или потому, что люди мелкие в политической жизни невольно подражают великим. Он взглянул на свои часы и сказал, прервав игру в бостон:

— Сейчас арестован молодой граф д'Эгриньон, и это столь гордое семейство навсегда обесчещено.

— Значит, вам все-таки удалось поймать мальчишку? — радостно воскликнул дю Кудре.

Присутствующие, за исключением председателя суда, помощника прокурора и дю Круазье, выразили крайнее изумление.

— Граф только что арестован в доме Шенеля, где он скрывался, — веско произнес г-н Соваже, помощник прокурора. Он считал, что при своих способностях мог бы быть министром полиции, но что его недооценивают.

Соваже был тощий и долговязый курчавый брюнет лет двадцати пяти, с длинным оливковым лицом и ввалившимися глазами, окаймленными снизу широкой синеватой тенью, а сверху — морщинистыми, темно-бурыми веками. У него был хищный крючковатый нос, поджатые губы и дряблые щеки, впалые от чрезмерных занятий и честолюбивых томлений. Он принадлежал к числу тех посредственностей, которые ждут благоприятного случая и готовы пойти на все, лишь бы выдвинуться, не переходя при этом границ дозволенного и сохраняя видимость законности. При всей своей важности, он был подхалимом и краснобаем. Тайну убежища молодого графа он узнал от преемника Шенеля, однако приписывал это открытие своей прозорливости. Сообщенная им новость, видимо, сильно удивила Камюзо, но на основании следствия, произведенного Соваже, он дал приказ об аресте, выполненный с такой быстротой. Камюзо был белокурый коротышка лет тридцати, обрюзгший и уже успевший располнеть; у него был землистый цвет лица, как почти у всех чиновников, проводящих жизнь в своих кабинетах или залах для заседаний; его маленькие светло-желтые глазки смотрели на мир с недоверием, которое частенько принимают за хитрость.

Госпожа Камюзо кинула на мужа красноречивый взгляд, как бы говоривший: «Разве я не была права?»

— Значит, дело дойдет до суда? — спросил следователь.

— А вы сомневались? — ответил дю Кудре. — Все кончено: ведь граф попался.

— Важны присяжные, — заметил г-н Камюзо. — Для этого процесса префект сумеет подобрать подходящих людей, а если принять во внимание право прокуратуры и право защиты на отвод, то останутся только те, кто будет настроен в пользу оправдания. Мой вам совет пойти на мировую, — продолжал он, обращаясь к дю Круазье.

— На мировую? — вмешался председатель суда. — Но ведь делу уже дан ход?

— Оправдают графа д'Эгриньона или осудят, все равно он будет опозорен, — сказал помощник прокурора.

— Я — гражданский истец, — заявил дю Круазье, — с моей стороны выступит Дюпен-старший. Посмотрим, как д'Эгриньоны вырвутся из его когтей.

— Поверьте, они сумеют защититься, — сказала г-жа Камюзо, — и найдут в Париже хорошего адвоката; вашим противником может оказаться Берье. Вот и найдет коса на камень.

Дю Круазье, Соваже и председатель дю Ронсере посмотрели на следователя — и у всех троих мелькнула одна и та же мысль. Вызывающий тон, каким молодая женщина бросила эту пословицу в лицо заговорщикам, решившим погубить семью д'Эгриньонов, пробудил в них тревогу, хотя каждый скрыл ее, как умеют скрывать свои чувства только провинциалы, привыкшие быть постоянно па глазах друг у друга и хитрить, точно монахи, живущие в одном монастыре. Г-жа Камюзо сразу заметила, как вытянулись их лица, едва они почуяли, что следователь может выступить против планов дю Круазье.

Заметив, что муж высказал свои затаенные мысли, она решила выяснить силу и глубину ненависти дю Круазье и выведать, чем он купил поддержку Соваже, который действовал с такой поспешностью и в разрез с желанием властей.

— Во всяком случае, — сказала она, — если по этому делу из Парижа приедут знаменитые адвокаты, процесс обещает быть весьма интересным; но дело, вероятно, все же успеют замять, пока оно не перешло из камеры следователя в уголовный суд. Можно думать, что правительство втайне приложит все усилия к тому, чтобы спасти молодого человека, который принадлежит к старинному роду и имеет такую возлюбленную, как герцогиня де Мофриньез. Поэтому мы вряд ли будем свидетелями громкого скандала.

— Как вы, однако, смело судите, сударыня! — строго заявил председатель. — Или вы полагаете, что суд, который будет разбирать это дело и выносить приговор, способен действовать из соображений, чуждых справедливости?

— События доказывают обратное, — ответила она, лукаво посмотрев на помощника прокурора и председателя суда, ответивших ей холодным взглядом.

— Объяснитесь, сударыня, — сказал Соваже. — Можно подумать, что мы не выполняли своего долга.

— Не придавайте значения словам моей жены, — заметил Камюзо.

— Но разве то, что сказал господин председатель, не предрешило исход дела, который должен зависеть от судебного следствия? — продолжала она. — А ведь следствие еще только предстоит, и никакого решения вынесено еще не было?

— Мы сейчас не в суде, — язвительно заметил помощник прокурора, — к тому же все это мы отлично знаем.

— Королевский прокурор пока еще ничего не знает, — ответила она, глядя на него с насмешкой. — Он поспешил вернуться из палаты депутатов. Наделали вы ему хлопот! Он, вероятно, выступит сам.

Помощник прокурора нахмурил свои густые брови, и его сообщники прочли на его челе запоздалые сожаления. Затем воцарилось глубокое молчание, и слышался только шорох тасуемых и сбрасываемых карт. Супруги Камюзо, увидев в отношении себя такую холодность, поспешили удалиться, решив не мешать заговорщикам.

— Камюзю, — сказала жена уже на улице, — ты слишком поторопился. Зачем ты дал этим людям основание подозревать, что ты не сочувствуешь их планам? Как бы они не подложили тебе свинью.

— А что они могут? Я здесь единственный судебный следователь.

— Но кто им помешает исподтишка оклеветать тебя и добиться твоей отставки?

В это мгновение они столкнулись с Шенелем. Старик узнал следователя. Дальновидность многоопытного нотариуса подсказала ему, что судьба д'Эгриньонов находится в руках этого молодого человека.

— Ах, сударь, — воскликнул Шенель, — вы нам крайне нужны! Я хотел бы сказать вам только одно словечко. Извините меня, сударыня, — обратился он к г-же Камюзю, отводя в сторону ее мужа.

Как верная сообщница, супруга следователя осталась стоять на страже, не спуская глаз с дома дю Круазье, чтобы прервать разговор мужа с Шенелем, если кто-нибудь оттуда выйдет, однако г-жа Камюзю не без основания решила, что враги, вероятно, обсуждают те соображения, которые она только что выдвинула, и поэтому появятся не скоро.

Шенель увлек следователя в тень дома и зашептал ему на ухо:

— Вам обеспечена поддержка герцогини де Мофриньез, принца Кадиньяна, герцогов де Наваррена, де Ленонкура, хранителя государственной печати, канцлера, короля, — словом, всех, если вы захотите отстоять д'Эгриньонов. Я только что из Парижа, мне все было известно, и я поспешил объяснить дело двору. Мы рассчитываем на вас, это останется между нами. Если же вы примете сторону наших врагов, я завтра снова поеду в Париж и подам жалобу на лицепрятные действия местных судебных властей, ибо многие из них были нынче вечером у дю Круазье, ели и пили у него вопреки закону, и вообще они ему друзья-приятели.

Шенель, будь это в его власти, готов был привлечь к делу д'Эгриньонов самого господ бога. Не дожидаясь ответа, он помчался с быстротою молодого оленя к дому дю Круазье.

А г-жа Камюзю так настойчиво стала требовать от мужа, чтобы он открыл ей, о чем с ним говорил Шенель, что следователь не выдержал натиска и выполнил ее желание; слушая его рассказ, она повторяла каждую минуту: «Ну разве я не была права, мой друг?» — слова, которые женщины твердят даже тогда, когда они не правы, — в этом случае уже менее кротко. Пока Камюзю дошел до дома, он вполне успел признать превосходство своей супруги, а также счастье быть ее мужем; это признание, несомненно, предвещало супругам приятную ночь. Шенель же вскоре встретил своих врагов, как раз выходявших от дю Круазье, и с беспокойством решил, что тот, пожалуй, уже лег спать: это было бы для Шенеля несчастьем, ибо обстоятельства требовали быстрых и решительных действий.

— Именем короля, откройте! — крикнул он слуге, запиравшему входную дверь.

Он только что упомянул имя короля перед каким-то ничтожным, но честолюбивым следователем, и это слово опять сорвалось с его губ; он сам не знал, что говорит, он был почти в бреду. Дверь отворилась, и Шенель, словно вихрь, ворвался в прихожую.

— Вот что, приятель, — обратился он к слуге, — если ты сейчас же разбудишь госпожу дю Круазье и вызовешь ее сюда, ты получишь сто экю. Можешь сказать ей все, что захочешь.

Когда Шенель очутился в роскошной гостиной дю Круазье, по которой тот ходил большими шагами, к нотариусу вернулись обычное спокойствие и хладнокровие. Несколько мгновений они мерили друг друга взглядом, и в нем отразились их двадцатилетняя взаимная вражда и ненависть. Один уже схватил за горло д'Эгриньонов, другой бросился, как лев, на их защиту.

— Сударь, — наконец заговорил Шенель, — смиренно кланяюсь вам. Вы уже подали жалобу?

— Да, сударь.

— А когда?

— Вчера.

— Никакого другого документа, кроме приказа об аресте, пока не составлено?

— Вероятно, — отозвался дю Круазье.

— Я пришел договориться с вами.

— Суд уже занялся этим делом, преследование пойдет в обычном порядке, приостановить уже ничего нельзя.

— Не будем говорить об этом... Я в вашей власти, у ваших ног.

Шенель упал на колени и с мольбой протянул руки к дю Круазье.

— Чего вы требуете? Хотите получить наши поместья? Наш замок? Берите все, но возьмите жалобу обратно, оставьте нам только жизнь и честь. Кроме всего этого, я готов быть вашим слугой. Можете мной располагать, как вам угодно!

Дю Круазье предоставил старику стоять на коленях, а сам опустился в кресло.

— Вы не будете мстить, вы добры, вы не настолько нас ненавидите, чтобы отказаться от любовного соглашения, — говорил нотариус. — От вас зависит, чтобы к утру юноша уже был на свободе.

— Весь город знает об его аресте, — ответил дю Круазье, наслаждаясь своей мстостью.

— Это большое несчастье; но, если не будет ни суда, ни вещественных доказательств, все можно уладить.

Дю Круазье погрузился в размышления, и Шенель решил, что им овладело корыстолюбие; в сердце старика ожила надежда, что он победит врага с помощью этого могущественного двигателя человеческих интересов. В эту решающую минуту вошла г-жа дю Круазье.

— Подите сюда, сударыня, помогите мне уговорить вашего любезного супруга, — обратился к ней Шенель, все еще стоя на коленях.

Госпожа дю Круазье, пораженная, поспешила поднять старика. Шенель рассказал ей суть дела. Когда эта достойная дочь управителей герцогов Алансонских узнала, о чем идет речь, она обернулась к дю Круазье, глаза ее были полны слез.

— Ах, сударь! — сказала она. — Неужели вы можете колебаться? Ведь д'Эгриньоны — гордость всего нашего края!

— Как будто в этом дело! — воскликнул дю Круазье и, вскочив, снова взволнованно зашагал по комнате.

— А тогда в чем же? — удивленно спросил Шенель.

— Дело, господин Шенель, идет о Франции, о нашем отечестве, о народе, о том, чтобы показать вашим господам аристократам, что существует правосудие, существуют законы, существуют буржуа и мелкие дворяне, которые не хуже их и наконец поймали их. Нельзя на охоте ради одного зайца истоптать десяток колосющихся полей, нельзя позорить семьи, совращая бедных девушек, нельзя презирать людей, которые не менее достойны, чем мы, нельзя безнаказанно издеваться над ними в течение десяти лет; все эти обиды растут и образуют лавины, а лавины в конце концов обрушиваются и засыпают господ аристократов. Вы же мечтаете о возврате старого порядка, вы хотите порвать общественное соглашение — Хартию, в которой записаны наши права.

— Что же из этого следует? — проговорил Шенель.

— Разве не наша священная обязанность открыть народу глаза? — воскликнул дю Круазье. — Он наконец поймет, каковы нравственные устои вашей партии, когда увидит, что дворянин сидит на скамье подсудимых, как любой проходимец. Он поймет, что простые люди, которые дорожат своей честью, стоят больше, чем знатные господа, которые позорят ее. Суд присяжных существует для всех. Я выступаю в этом деле как защитник народа, как друг законов. Вы сами

дважды толкнули меня к народу — сначала отказавшись породниться со мной, а затем не допустив в свое общество. Теперь вы пожинаете то, что посеяли.

Эта речь испугала и Шенеля, и г-жу дю Круазье. К ее ужасу, характер мужа вдруг предстал перед ней в истинном свете, как будто внезапная вспышка осветила не только прошлое, но и представшее ей будущее. Казалось, ничто не может поколебать этого неумолимого человека. Однако Шенель не отступил даже перед невозможным.

— Как, сударь! Неужели вы не простите? Разве вы не христианин? — произнесла г-жа дю Круазье.

— Я прощаю, сударыня, так же, как прощает бог, — на определенных условиях.

— Какие же это условия? — спросил Шенель, в душе которого блеснул луч надежды.

— Скоро выборы, я желаю получить все голоса, которыми вы располагаете.

— Вы их получите, — сказал Шенель.

— Я желаю, — продолжал дю Круазье, — чтобы меня и мою жену каждый вечер, запросто, и хотя бы с видимостью дружелюбия, принимали у себя маркиз д'Эгриньон и его близкие.

— Я еще не знаю, как это сделать. Но вы будете приняты.

— Я желаю получить от вас в связи с этим делом закладную на четыреста тысяч франков, на основе письменного соглашения, чтобы всегда держать вас под угрозой.

— Мы согласны, — ответил Шенель, все еще не признаваясь в том, что у него при себе сто тысяч эю. — Но это соглашение будет находиться у третьего лица, а после уплаты долга и вашего избрания оно должно быть возвращено д'Эгриньонам.

— Нет, только после замужества моей внучатой племянницы мадемуазель Дюваль, у которой со временем будет, вероятно, четыре миллиона. При заключении брачного контракта я и моя жена назначим эту девицу нашей наследницей; она должна выйти за вашего молодого графа.

— Никогда! — сказал Шенель.

— Никогда? — переспросил дю Круазье, опьяненный сознанием своей власти. — В таком случае — спокойной ночи.

«Какой же я дурак! — сказал себя Шенель. — Ну что мне стоило соврать подобному человеку!»

Дю Круазье, довольный, что он пожертвовал выгодой ради своего оскорбленного самолюбия, вышел из комнаты; он наслаждался вдоволь тем, что унизил Шенеля, поиграл судьбами знатной семьи, этой надежды аристократии департамента, и взял д'Эгриньонов за горло. Затем он поднялся в спальню, оставив жену с Шенелем. Он упивался своим торжеством, он считал победу уже одержанной, ибо был убежден, что сто тысяч эю растрочены и д'Эгриньоны вынуждены будут для их уплаты продать или заложить свои поместья; судебный процесс казался ему неизбежным. Дела о подлоге улаживаются без труда, если полученная обманом сумма возмещается. Объектами подобного рода преступлений обычно бывают люди богатые, которые мало заинтересованы в том, чтобы стать причиной бесчестия неосторожного человека. Но дю Круазье не желал так просто отказаться от своих прав. Итак, он лег спать, предаваясь сладостным мечтам о скором осуществлении своих честолюбивых замыслов — либо с помощью судебного процесса, либо путем предложенного им брака, и с удовольствием прислушивался к доносившемуся до него из гостиной жалобному голосу Шенеля, изливавшего свои горести г-же дю Круазье.

Будучи глубоко верующей католичкой, роялисткой и горячей сторонницей аристократии, г-жа дю Круазье всецело разделяла благоговение нотариуса перед д'Эгриньонами. Только что разыгравшаяся сцена глубоко ее оскорбила. Правверная роялистка услышала во всем этом злобные завывания либералов, которые, по словам ее духовника, жаждали уничтожения

католицизма. Для г-жи дю Круазье «левые» олицетворяли 1793 год, с его мятежами и казнями.

— Что сказал бы ваш дядя, этот святой человек? Ведь он слышит нас! — воскликнул Шенель.

Госпожа дю Круазье не ответила, но по ее щекам скатились две крупные слезы.

— Вы послужили однажды причиной смерти бедного юноши и вечного горя его матери, — продолжал Шенель, видя, как метко он наносит удары, и готовый совсем разбить сердце этой женщины, лишь бы спасти Виктюрньена. — Неужели вы хотите смерти мадемуазель Арманды, которая недели не проживет, если семья будет опозорена? Или смерти бедного Шенеля, вашего старого нотариуса, который своими руками убьет молодого графа в тюрьме до того, как ему предъявят обвинительное заключение, а затем покончит с собой, чтобы самому не пойти под суд за убийство?

— Друг мой, довольно, довольно! Я готова сделать все, лишь бы замять это дело, но я по-настоящему узнала господина дю Круазье всего несколько минут назад... Вам я могу признаться... Выхода нет.

— А если он все-таки существует?

— Я полжизни отдала бы, чтобы он нашелся, — закончила она, решительно качнув головой, как бы подтверждая этим горячее желание найти выход.

Подобно первому консулу^[29], который в битве при Маренго^[30] до пяти часов вечера терпел поражение, а в шесть одержал победу, благодаря отчаянной атаке Дезе и грозному натиску Келлермана, — Шенель, несмотря на то, что все его надежды рухнули, вдруг увидел возможность победы. Надо было быть Шенелем, многоопытным нотариусом, бывшим управляющим, бывшим мелким клерком у мэтра Сорбье-старшего, нужны были те внезапные прозрения, которые рождает отчаяние, чтобы стать равным Наполеону и даже превзойти его: ибо это не было даже битвой при Маренго, это было Ватерлоо^[31], и Шенель, увидев пруссаков, решил одержать над ними победу.

— Сударыня, вы, чьи дела я вел в течение двадцати лет, вы — гордость буржуазии, как д'Эгриньоны — гордость аристократии, знайте, что спасение этого семейства в ваших руках! А теперь ответьте мне: позволите ли вы опозорить прах вашего дяди, честь д'Эгриньонов, достоинство бедного Шенеля? Хотите ли вы погубить мадемуазель Арманду, которая плачет от горя? Или, наоборот, вы хотите искупить свои грехи, порадовать своих предков, управителей герцогов Алансонских, и успокоить душу вашего дяди-аббата? Если бы он мог восстать из могилы, он повелел бы вам сделать то, о чем я молю вас на коленях!

— Но что же? — воскликнула г-жа дю Круазье.

— Вот они, эти злосчастные сто тысяч экю, — сказал он, извлекая из кармана пачку банковых билетов. — Возьмите их, и все будет кончено.

— Если дело только в этом, — продолжала она, — и я не навлеку на мужа каких-нибудь неприятностей...

— Вы сделаете ему только добро, — сказал Шенель. — Вы спасете его от вечных мук ценой легкого разочарования здесь, на земле.

— Он не будет скомпрометирован? — спросила г-жа дю Круазье, глядя на Шенеля.

И тогда Шенель угадал затаенные мысли, мучившие несчастную женщину. Г-же дю Круазье приходилось выбирать между верностью заповедям религии, предписывающим жене ее обязанности по отношению к мужу, и верностью престолу и церкви: она видела, что ее муж заслуживает порицания, — и не смела его порицать; она очень хотела бы спасти д'Эгриньонов — и не решалась действовать вопреки интересам мужа.

— Нисколько, — сказал Шенель, — ваш старый нотариус клянется вам на святом Евангелии...

Шенель отдал все; ему осталось только пожертвовать д'Эгриньонам вечным спасением своей души, и он рискнул этим спасением, произнося кощунственную ложь; но надо было или ввести в заблуждение г-жу дю Круазье, или погибнуть. Он тут же составил и продиктовал расписку в получении ста тысяч экю, пометив ее пятью днями раньше, чем был предъявлен роковой чек, — он вспомнил, что дю Круазье именно в эти дни уезжал в имение жены, чтобы распорядиться относительно некоторых работ.

— Поклянитесь мне, — сказал Шенель, когда г-жа дю Круазье взяла деньги и когда расписка оказалась у него в руках, — подтвердить следователю, что вы действительно получили эту сумму в указанный день.

— А это не будет ложью?

— Только ложью во спасение.

— Я не могу пойти на нее, не поговорив с моим духовником, аббатом Кутюрье.

— Хорошо, — отозвался Шенель, — но руководствуйтесь в этом деле лишь его советами.

— Обещаю.

— Не возвращайте денег господину дю Круазье раньше, чем вы не дадите показаний следователю.

— Хорошо, — ответила она, — да ниспошлет господь мне силу предстать перед судом человеческим и поддержать там ложь.

Поцеловав руку г-жи дю Круазье, Шенель величаво выпрямился: он напоминал в эту минуту одного из пророков на картинах Рафаэля в Ватикане.

— Душа вашего усопшего дяди ликует; вы навеки искупили вину, которую некогда совершили, сочетавшись браком с врагом престола и церкви.

Эти слова произвели столь сильное впечатление на богобоязненную душу г-жи дю Круазье, что Шенелю пришло на ум заручиться поддержкой аббата Кутюрье, ее духовного наставника. Нотариус знал, с каким упорством люди благочестивые, поднявшись на защиту своих идей, добиваются их торжества, и он решил как можно скорее привлечь на свою сторону в этой борьбе церковь; он отправился в отель д'Эгриньон, разбудил мадемуазель Арманду и, рассказав о событиях этой ночи, попросил ее немедленно поехать в епископство, чтобы доставить прелата на поле боя.

«Боже, ты должен спасти род д'Эгриньонов! — воскликнул про себя Шенель, медленным шагом возвращаясь домой. — Теперь все сведется к юридическому поединку. Мы имеем дело с людьми, действиями которых руководят страсти и корыстные интересы, и мы можем всего от них добиться. Этот дю Круазье воспользовался отсутствием королевского прокурора, который нам предан, но находится сейчас в Париже, на сессии палаты... Все же непонятно, каким образом они забрали в руки его старшего помощника и тот, не посоветовавшись с начальством, передал жалобу в суд? Завтра утром нужно будет непременно проникнуть в эту тайну, нащупать почву, и, если у меня окажутся в руках все нити заговора, быть может, придется опять съездить в Париж и там, через госпожу де Мофриньез, прибегнуть к помощи высоких особ».

Таковы были мысли бедного старика, поседевшего в юридических битвах; и он правильно оценивал положение. Наконец нотариус лег, изнемогая от усталости и пережитых треволнений. Однако, перед тем как заснуть, он перебрал в уме всех членов суда, стараясь проникнуть испытующим взором в тайны их честолюбивых помыслов и выяснить, каким путем можно на них воздействовать, каковы его шансы в этой борьбе. Подведя краткий итог тщательному разбору, которому Шенель подверг совесть этих людей, мы дадим читателю некоторое представление о судебных нравах в провинции.

Все судьи и прокуроры, вынужденные начать свою карьеру и осуществлять свои честолюбивые мечтания в провинциальной глуши, мечтают о Париже, жаждут блистать на этой

широкой арене, где бывают громкие политические процессы, где суд тесно связан с животрепещущими общественными интересами. Но в этот юридический рай проникают лишь немногие избранники, а девять десятых претендентов рано или поздно бывают вынуждены навсегда обосноваться в провинции. Поэтому в каждом провинциальном трибунале, в каждом суде существуют две резко очерченные категории чиновников: одна — это отчаявшиеся честолюбцы, которые довольствуются почтением, с каким обитатели провинции обычно относятся к представителям правосудия, или те, кто окончательно погрузился в ее тихую, сонную жизнь; другая категория — это энергичные, а иногда и действительно одаренные молодые люди, честолюбие которых не могут охладить никакие разочарования, а жажда выдвинуться постоянно разжигает его в этих служителях Фемиды и доводит их до какого-то неистовства. В те времена роялизм вдохновлял молодых ревнителей правосудия на борьбу с врагами Бурбонов. Любой помощник прокурора мечтал тогда о грозных речах, жаждал крупных политических процессов, в которых мог бы показать свое усердие, привлечь внимание начальства и выдвинуться. Кто из судейских чиновников не завидовал суду, в чьем округе бывал раскрыт бонапартистский заговор? Кто не жаждал выследить какого-нибудь Карона ^[32] или Бертона ^[33] или обнаружить подготовку к вооруженному восстанию? Эти пылкие честолюбцы, чьи надежды поддерживались упорной борьбой партий, ссылались на благо государства и необходимость укрепить во Франции монархический строй; они были необычайно дальновидны, проницательны, предусмотрительны; они неукоснительно исполняли свои полицейские обязанности, шпионили за населением и толкали его на путь покорности, с которого оно не смело сойти. Вера в монархию придавала тогдашней юстиции черты фанатизма; притязая на исправление ошибок старинных парламентов ^[34], новейшие суды действовали заодно с церковью, — быть может, даже слишком открыто. В эту эпоху юстиция показала себя скорее усердной, чем искусной, она меньше грешила макиавеллизмом, чем откровенностью взглядов, шедших вразрез с общими интересами страны, которую она пыталась оградить от возможных в будущем революций. Но в целом среди судейского сословия было слишком много буржуазных элементов, оно было слишком доступно влиянию мелких страстей, порождаемых либерализмом, и должно было рано или поздно стать конституционным, а в час решительной схватки — перейти на сторону буржуазии... В огромном организме судебной власти, как и власти административной, таилось немало лицемерия или, говоря точнее, духа подражания, который вечно заставляет Францию копировать двор и, с невинным видом, обманывать его.

Два указанных нами типа юристов имелись и в том суде, который должен был решить судьбу молодого д'Эгриньона. Председатель суда дю Ронсере и старик судья по фамилии Блонде принадлежали к категории смирившихся, готовых довольствоваться своей судьбой и навсегда обосновавшихся в провинции. Среди представителей честолюбивой молодежи были следовательно Камюзо и Мишю, назначенный благодаря покровительству знатного семейства Сен-Синь заместителем судьи; он рассчитывал при первой возможности перейти в уголовный суд в Париже.

Председатель дю Ронсере был спокоен за свое место, полагаясь на закон о несменяемости судей; считая, что аристократия не относится к нему с тем почтением, которого он достоин, дю Ронсере принял сторону буржуазии, прикрыв свое разочарование маской независимости; он, очевидно, не понимал, что при своих взглядах будет вынужден остаться на всю жизнь лишь председателем окружного суда. Вступив на этот путь, он, следуя логике вещей, волей-неволей связал все свои надежды на карьеру с победой дю Круазье и «левых». Его не любили ни в префектуре, ни в суде. Дю Ронсере должен был ладить с властями и поэтому казался либералам подозрительным. Таким образом, его не считала своим ни одна из партий. Вынужденный снять

свою кандидатуру в депутаты в пользу дю Круазье, дю Ронсере потерял всякое влияние и играл только второстепенную роль. Фальшивость его положения повлияла на его характер, он стал озлобленным и желчным. Устав от необходимости держаться двойственной политики, он втайне решил встать во главе либеральной партии и таким образом взять верх над дю Круазье. Поведение председателя суда в деле графа д'Эгриньона было первым шагом на этом пути. Он являлся уже вполне типическим представителем буржуазии, которая оскверняет своими ничтожными страстями великие интересы страны; неустойчивая в политике, она сегодня стоит за существующую власть, а завтра — против; она все компрометирует и ничего не защищает, приходит в отчаяние от совершенного ею зла и порождает новое, не желает признать собственного ничтожества и докучает власти, прикидываясь ее скромной — а на самом деле наглой — служанкой; требует от народа повиновения, в то время как сама не желает повиноваться королевской власти; охваченная завистью к сильным мира сего, она непременно желает свести их до своего уровня, как будто величие совместимо с ничтожеством, а власть может существовать без силы.

Председатель был тощий и долговязый шатен; у него был покатый лоб, реденькие волосы, разноцветные глаза, лицо в прыщах и поджатые губы. Говорил он с хриплым присвистом, так как страдал астмой. Он был женат. Его жена, грузная и весьма нескладная особа, следовала самым нелепым модам и отчаянно рядилась. Она держалась королевой, носила только яркие цвета и, выезжая на бал, неизменно водружала на голову тюрбан — головной убор, столь излюбленный англичанками и имеющий огромный успех у провинциальных дам. Супруги получали четыре-пять тысяч франков годового дохода; вместе с жалованьем председателя их ресурсы составляли тысяч двенадцать в год. Несмотря на скупость, они из тщеславия раз в неделю принимали гостей. Жили они в старинном доме, принадлежавшем г-же дю Ронсере, и, храня верность добрым старым обычаям города, где дю Круазье старался насадить современную роскошь, не переставили у себя с самой свадьбы ни одной вещи. Дом их, выходящий одним фасадом во двор, а другим — в небольшой сад, повернулся к улице боковой стеною, с одним окном в каждом этаже, и был увенчан щипцом крутой крыши в виде треугольника. Все владение окружала высокая ограда, вдоль которой со стороны сада тянулась каштановая аллея, а со стороны двора — службы. Сад был отделен от улицы ветхой, заржавевшей решеткой; во двор вели ворота, стиснутые двумя стенами и прикрытые широким навесом. Такой же навес украшал и парадное крыльцо. Под навесами было душно, темно, затхло. В стене, отделявшей дом от соседнего, было пробито несколько окошек, забранных решетками, как в тюрьме. Цветам, казалось, не хотелось расти на квадратных клумбочках этого садика, который был виден каждому через редкую решетку. В нижнем этаже дома, по одну сторону большой прихожей, была расположена гостиная, с окном на улицу и застекленной дверью в сад. По другую сторону находилась такой же величины столовая. Эти три комнаты вполне отвечали унылому виду дома. На потолках перекрещивались разрисованные балки, а квадраты между ними были украшены скупым, утомительным для глаз орнаментом в виде ромбов с резными деревянными розетками. Стенная роспись крикливых тонов поблекла и потемнела. В гостиной висели красные шелковые, выгоревшие от солнца портьеры и стояла выкрашенная в белый цвет мебель, обитая выцветшим штофом. Камин украшали часы времен Людовика XV и безвкусные жирандоли с восковыми свечами, которые зажигались лишь в высокаторжественные дни, когда супруга председателя совлекала зеленый чехол со старинной люстры, украшенной подвесками из горного хрусталя. Три карточных стола с изъеденным молью зеленым сукном и столик для триктрака были к услугам непритязательных гостей, которых хозяйка угощала сидром, пышками, каштанами, сахарной водой и оршадом собственного приготовления. С некоторых пор она стала раз в две недели подавать гостям чай с довольно скверным пирожным. Каждые три месяца дю Ронсере

давали званый обед с тремя переменами, о котором предварительно трубили по всему городу; он подавался на отвратительном сервизе, но приготавлился с тем мастерством, каким отличаются только провинциальные кухарки. Трапеза, достойная Гаргантюа, продолжалась шесть часов кряду. И тут председатель старался посрамить изысканные обеды дю Круазье той хвастливой расточительностью, на которую иногда способны скряги. Так весь образ жизни дю Ронсере во всех мелочах соответствовал его характеру и ложному положению. Дома ему не нравилось, хотя он сам не понимал — почему, но он не решался даже на малейший расход, чтобы изменить установленный порядок, ибо с особым удовольствием откладывал каждый год семь-восемь тысяч франков; дю Ронсере мечтал как можно лучше обеспечить своего сына Фабиена, не желавшего стать ни судьей, ни адвокатом, ни чиновником и приводившего отца в отчаяние своим бездельем.

Из-за брачных планов у председателя возникло соперничество со старшим судьей Блонде, который уже давно познакомил своего сына Жозефа с семейством Бландуро. У этих богатых торговцев полотном была единственная дочь, и на ней-то председатель мечтал женить своего Фабиена. Так как брак Жозефа Блонде зависел от его назначения исправляющим должность судьи, чего отец надеялся добиться для него, выйдя в отставку, председатель всячески мешал намерениям судьи и тайком обрабатывал родителей девицы. И, не случись истории с молодым д'Эгриньоном, отец и сын Блонде, пожалуй, были бы оставлены в дураках коварным председателем, состояние которого было гораздо больше, чем у его соперника.

Судья Блонде — жертва маневров вероломного председателя — принадлежал к числу тех любопытных фигур, какие бывают погребены в провинциальной глуши, как старинная монета в гробнице; ему было тогда около шестидесяти семи лет; это был хорошо сохранившийся высокий старик, напоминавший каноников доброго старого времени. Его лицо ровного красноватого цвета, изрытое оспой, вследствие чего нос походил на штопор, было довольно характерным; оно оживлялось быстрыми, обычно насмешливыми глазками и саркастическим подергиванием лиловатых губ. До революции он был адвокатом, а затем сделался общественным обвинителем и оказался одним из наиболее снисходительных представителей этой грозной профессии. Добряк Блонде, как его обычно называли, смягчал строгость революционных решений тем, что на все соглашался и ничего не выполнял. Вынужденный заключить в тюрьму нескольких аристократов, он тянул их процесс до 9-го термидора с таким искусством, что заслужил всеобщее уважение. И понятно, что добрейший Блонде должен был сделаться председателем суда; но при реорганизации этих судов он был отстранен Наполеоном, чья антипатия к республиканцам сказывалась в каждой мелочи его правления. Когда император увидел на полях списка против фамилии судьи пометку о том, что Блонде был общественным обвинителем, император осведомился у Камбасереса, не найдется ли в округе какого-нибудь отпрыска старинной судейской семьи, чтобы назначить его на это место. Так дю Ронсере, чей отец был советником парламента, стал председателем суда. Невзирая на нежелание императора, главный канцлер, в интересах правосудия, оставил Блонде судьей, ссылаясь на то, что старый адвокат — один из наиболее опытных французских юристов.

Талантливый судья, знаток старого, а позднее — новейшего законодательства, Блонде мог бы пойти далеко; но, подобно многим выдающимся умам, он ни во что не ставил свои юридические познания и почти целиком посвятил себя занятию, весьма далекому от его профессии, отдавая ему все свои помыслы, время и способности. Чудак страстно увлекался садоводством, он состоял в переписке с самыми известными любителями, лелеял честолюбивую мечту создать новые виды, интересовался ботаническими открытиями, — словом, жил в мире цветов.

Как все цветоводы, он пристрастился к одному избранному цветку: его любимицей была

герань. Поэтому суд, процессы, вся реальная жизнь отступали на задний план перед той фантастической, полной волнений жизнью, которую старик Блонде вел среди своих невинных красавиц, с каждым днем все сильнее пленявших его. Уход за садом, увлекательные занятия цветоводством приковывали старого судью к его оранжерее. Если бы не эта страсть, он был бы избран во время Империи депутатом и, без сомнения, блистал бы в Законодательном корпусе. Женитьба Блонде тоже была причиной того, что он затерялся в провинциальной глуши. Судья имел глупость в сорок лет жениться на восемнадцатилетней девушке, которая через год родила сына Жозефа. Три года спустя в г-жу Блонде, первую красавицу в городе, влюбился префект департамента; их связь оборвалась только с ее смертью. От префекта, как было известно всему городу, да и самому Блонде, у нее родился второй сын — Эмиль. Г-жа Блонде, которая могла бы пробудить честолюбие в душе мужа и одержать верх над его страстью к цветам, потворствовала увлечению судьи ботаникой и не желала покидать город, так же как и префект уклонялся от перевода в другую префектуру, пока была жива его возлюбленная. Блонде, которому в его возрасте была уже не под силу борьба с молодой женщиной, находил утешение в своей оранжерее и нанял прехорошенькую служанку для ухода за непрерывно сменявшимися красавицами своего сераля. Пока судья высаживал, отсаживал, пересаживал, поливал, прививал, скрещивал и менял окраску своих цветов, г-жа Блонде тратила его деньги на моды и наряды, блистая в залах префектуры; от этой необыкновенной любви, которой в конце концов стал восхищаться весь город, ее отвлекали лишь заботы о воспитании Эмиля, нераздельно слитого в ее представлении все с той же страстью. Эмиль, дитя любви, был столь же красив и умен, как Жозеф — недалеко и невзрачен. Старый судья, ослепленный отцовской любовью, был привязан к Жозефу не меньше, чем его жена — к Эмилю. Двенадцать лет Блонде безропотно покорялся судьбе, он закрывал глаза на страсть жены, сохраняя, подобно аристократам XVIII века, вид, полный благородства и достоинства; но, как это бывает у людей спокойного нрава, он затаил глубокую ненависть к младшему сыну. В 1818 году, после смерти жены, он изгнал этого чужака, послав его в Париж изучать право и определив ему содержание в тысячу двести франков в год; никакими мольбами и жалобами у него нельзя было вырвать лишней сантим. Эмиль Блонде пропал бы без поддержки своего настоящего отца.

Дом судьи — один из самых красивых в городе. Он стоит почти напротив префектуры и выходит на главную улицу опрятным двориком с решетчатыми железными воротами меж двух кирпичных колонн. От каждой из этих колонн к смежным домам отходят решетки, поставленные на невысокую, в половину человеческого роста, кирпичную стенку. Двор, шириной в десять и длиной в двадцать туазов, разделен кирпичной дорожкой, ведущей от калитки к дому, на два сплошных цветника. Заботливо обновляемые во все времена года, они радуют глаз ликующими сочетаниями красок. Из-под этой массы цветов поднимаются вьющиеся растения, как бы набрасывая великолепный плащ на стены двух соседних домов. На увитых жимолостью кирпичных колоннах стоят терракотовые вазы с кактусами, прижившимися в новом климате, и прохожие дивятся их уродливым, в колючих наростах, листьям, словно пораженным неведомой ботанической болезнью. Ярко-зеленые жалюзи приятно оживляют незатейливый фасад кирпичного дома, окна которого украшены дугообразными, тоже кирпичными, карнизами. Сквозь застекленную дверь и длинный коридор, в конце которого находится такая же дверь, можно видеть главную аллею сада, занимающего около двух арпанов. Из окон гостиной и столовой, расположенных, как и стеклянные двери коридора, друг против друга, видны сплошные цветочные ковры, застилающие этот уголок. Кирпичный фасад за два столетия принял оттенок ржавчины и бурого мха вперемежку с зеленоватыми тонами, и все это приятно сочетается со свежей листвой деревьев и кустарника. Путешественник, бродящий по городу, не может не залюбоваться этим домом, который так изящно обрамлен цветами, мхом, листьями и

утопает в них до самой крыши, украшенной двумя глиняными голубями.

Кроме этого старого дома, где вот уже столетие не производилось никаких изменений, у судьи было около четырех тысяч франков дохода с земель. Из чувства мести, достаточно, впрочем, оправданной, он задумал передать и дом, и земли, и должность сыну Жозефу; всему городу было известно о его замысле. Судья сделал завещание в пользу Жозефа, отказав ему все, чем закон разрешает отцу наделить одного из сыновей в ущерб другим. Более того: г-н Блонде последние пятнадцать лет копил деньги, чтобы оставить туповатому Жозефу сумму, достаточную для выкупа части земли, которой по закону нельзя было лишить Эмиля. Изгнанный из родительского дома, Эмиль Блонде сумел создать себе положение в Париже; правда, скорее в моральном, чем в материальном смысле. Лень и беспечность Эмиля глубоко удручали его настоящего отца, который был отрешен от должности после одной из смен министерств, столь частых в период Реставрации, и умер почти разоренным, тревожась за участь сына, одаренного от природы самыми блестящими способностями. Эмиль нашел для себя опору в дружбе мадемуазель де Труавиль, вышедшей замуж за графа де Монкорне; он знал ее еще до замужества. Мать Эмиля была жива в ту пору, когда из эмиграции вернулись Труавили, с которыми г-жа Блонде находилась в отдаленном родстве. Она воспользовалась этим, чтобы ввести Эмиля к ним в дом. Бедная женщина предчувствовала, какое будущее ждет ее сына, она уже видела его осиротевшим, и от этого мысль о смерти была для нее горька вдвойне; она стремилась найти покровителей, которые поддержали бы ее сына. Ей удалось сблизить Эмиля со старшей из девиц Труавиль, которая не могла, однако, выйти за него замуж, хотя и была увлечена им. Между ними установилась нежная привязанность, напоминавшая отношения Поля и Виржинии^[35]. Г-жа Блонде пыталась укрепить взаимное чувство молодых людей; предвидя, что оно может увянуть, как обычно увядают подобные ребяческие увлечения, эти первые опыты любви, она внушала своему сыну, что в семье Труавилей он должен видеть свою будущую опору. Когда г-жа Блонде, уже на пороге смерти, узнала о браке мадемуазель де Труавиль с генералом Монкорне, она обратилась к ней с торжественной просьбой никогда не покидать Эмиля и руководить его первыми шагами в парижском обществе, где г-жа де Монкорне призвана была блистать в силу положения своего мужа. К счастью, оказалось, что Эмиль не нуждается в покровительстве. В двадцать лет он вступил на литературное поприще, где сразу выдвинулся. Не меньшим успехом он пользовался в светском обществе, куда его ввел отец в то время, когда имел еще возможность обеспечить ему приличное содержание. Эта рано пришедшая известность и светский такт Эмиля укрепили, быть может, узы дружбы, соединявшие его с графиней. Возможно, что г-жа де Монкорне (в ее жилах текла, кстати, и русская кровь — ее мать была дочерью княгини Шербеловой) отвернулась бы от друга своего детства, если бы он погряз в бедности и все силы ума тратил на борьбу с преградами, с которыми столкнулся и в свете, и в литературном мире Парижа; но к тому времени, когда в бурной жизни Эмиля наступила трудная полоса, их взаимная привязанность была уже прочной и нерушимой. В описываемую нами пору Блонде, которого молодой д'Эгриньон встретил в Париже на первом же ужине, слыл одним из столпов журналистики. В политическом мире его считали выдающейся величиной, и он вполне оправдывал эту репутацию. Чудак Блонде не имел ни малейшего представления о том, как выросло могущество прессы при конституционном правительстве; никому не приходило в голову говорить с ним о сыне, о котором он и слышать не хотел; и судья ничего не знал ни об этом отверженном сыне, ни о влиянии, которым он пользовался.

Честность была таким же неотъемлемым качеством судьи, как страсть к цветам; для него существовали в жизни лишь право и ботаника. Он принимал тяжущихся, выслушивал их, разговаривал с ними, показывал им свои цветы; он принимал от них в подарок дорогие семена; но, усевшись в судейское кресло, г-н Блонде становился воплощением нелицеприятности. Эти

черты его как судьи были известны всем и каждому, и к нему стали являться лишь для вручения документов, проливающих свет на дело; никто не пытался его обмануть. Познания, ученость и пренебрежение к своему таланту делали Блонде столь незаменимым для дю Ронсере, что даже помимо видов на девицу Бландюро председатель не побрезговал бы никакими тайными кознями, чтобы помешать отставке судьи: если бы ученый старик покинул суд, дю Ронсере сам не мог бы обосновать ни одного судебного приговора. Блонде не знал, что его сын Эмиль мог бы в течение одного дня осуществить заветные желания старика отца. Судья вел самую простую жизнь, достойную героев Плутарха. Вечером он изучал дела, утром ухаживал за цветами, днем судил. Хорошенькая служанка, которая уже успела состариться и покрыться морщинами, как яблоко на пасху, смотрела за хозяйством, которое велось по всем правилам суровой бережливости. Мадемуазель Кадо ни на минуту не расставалась с ключами от шкафов и кладовой; она была неутомима: сама ходила на рынок, занималась уборкой, стряпала и ни разу не пропустила обедни. Чтобы дать представление о жизненном укладе этой семьи, достаточно сказать, что отец и сын ели только подпорченные фрукты, так как мадемуазель Кадо имела привычку подавать на десерт самые перезрелые; в доме не знали вкуса свежего хлеба и строго соблюдали установленные церковью посты. Садовник получал паек, вроде солдатского, и находился под неусыпным надзором этой старой султанши, которая пользовалась таким уважением, что обедала вместе с хозяевами. Во время трапезы ей приходилось все время сновать между кухней и столовой.

Родители мадемуазель Бландюро соглашались на брак их наследницы с Жозефом Блонде лишь при условии, что этот захудалый адвокат будет назначен на должность заместителя судьи. Стремясь подготовить сына к судебским обязанностям, отец усердно вколачивал ему в голову необходимые для этого знания. Блонде-сын почти все вечера проводил в доме своей невесты, где после возвращения из Парижа бывал и Фабиен дю Ронсере, что не внушало, однако, ни малейших опасений ни старому, ни молодому Блонде. Законы бережливости, управлявшие этой жизнью, где все было размерено с точностью, достойной «Взвешивателя золота» Герарда Доу, где не разрешалось потратить даже лишнюю крупинку соли, где из всего старались извлечь пользу, — эти законы отступали перед требованиями оранжереи и сада. «Хозяин помешался на своих цветах», — говорила мадемуазель Кадо, не считавшая, однако, помешательством слепую любовь старика к Жозефу; она сама разделяла это чувство, холила Жозефа, штопала ему чулки и предпочла бы, чтобы деньги, расходуемые на сад, тратились на него.

Сад Блонде, содержащийся в отличном состоянии единственным садовником, был пересечен аллеями, которые посыпались речным песком и тщательно расчищались; по обе стороны на длинных куртинах чуть покачивались редчайшие цветы. Казалось, здесь были собраны все ароматы, все краски; здесь можно было видеть несметное множество горшочков, выставленных на солнце, ящериц на стенах, установленные в ряд железные лопаты и кирки, — словом, все невинные принадлежности садоводства и изящные образцы его продукции, всё, что оправдывает эту страсть, милую сердцу многих. В конце оранжереи судья устроил обширный амфитеатр, на уступах которого размещались пять или шесть тысяч горшков герани — великолепная прославленная коллекция, на которую приходили любоваться во время ее цветения жители города, а некоторые даже являлись для этого из соседних департаментов. Императрица Мария-Луиза, проезжая через город, удостоила эту необыкновенную оранжерею своим посещением и пришла в такой восторг от представившегося ей зрелища, что рассказала о нем Наполеону, и тот пожаловал старому судье орден Почетного легиона. Ученый садовод, нигде не бывавший, за исключением семьи Бландюро, понятия не имел о тайных маневрах председателя. Лица, которые могли бы проникнуть в замыслы дю Ронсере, слишком боялись его, чтобы предостеречь безобидных Блонде.

Что касается Мишо, то этот молодой человек, имевший влиятельных покровителей, не особенно интересовался несложными делами провинциального суда; гораздо больше стараний прилагал он, чтобы понравиться светским дамам города, которые принимали его по рекомендации семьи Сен-Синь. Он обладал годовым доходом в двенадцать тысяч франков, был на хорошем счету у всех маменек, и жизнь казалась ему сплошным праздником. Делами суда Мишо занимался больше для очистки совести, как школьники занимаются приготовлением уроков. На совещаниях он охотно соглашался с чужим мнением и неизменно повторял: «Да, господин председатель». Но под этим кажущимся безразличием скрывалось умственное превосходство человека, который изучал право в Париже и уже отличился как помощник судьи. Широта мышления позволяла ему быстро справляться с делами, в которых надолго увязали Блонде и председатель; он нередко помогал им разрешать запутанные вопросы. В щекотливых случаях председатель и его заместитель совещались с исправляющим должность судьи, они поручали ему излагать самые сложные решения и всегда удивлялись быстроте его работы, в которую старику Блонде не приходилось вносить никаких поправок. Пользовавшийся покровительством самых чванных аристократических кругов, молодой и богатый судья жил вне интриг и мелочных провинциальных интересов. Без него не обходился ни один пикник, он шутил с барышнями, ухаживал за маменьками, танцевал на балах и играл по большой. Словом, он отлично справлялся с ролью судьи-аристократа, не роняя, однако, своего звания, о котором умел напомнить умно и кстати. Пленяла в нем и простота, с какой он принял и усвоил провинциальные нравы, не пускаясь в их критику. Поэтому общество прилагало все усилия, чтобы скрасить его вынужденное пребывание в глуши.

Королевского прокурора, талантливого юриста, подвизавшегося и на политическом поприще, председатель побаивался. Будь прокурор в городе, делу Викторньена не был бы дан ход. При своей ловкости и большом практическом опыте прокурор сумел бы замять его. Председатель и дю Круазье решили воспользоваться для осуществления своих злокозненных планов его отъездом на сессию палаты депутатов в Париж, где он слыл одним из наиболее видных ораторов правительственной партии; они довольно ловко рассчитали, что раз дело дойдет до суда и будет предано огласке, его уже не удастся замять никакими средствами. Надо сказать, что ни один прокурор не принял бы в те времена без внимательного рассмотрения, а то и специального доклада генеральному прокурору, жалобы по обвинению в подлоге на старшего сына одного из знатнейших семейств королевства. Прокуратура вместе с административной властью попыталась бы найти тысячу путей к любовному соглашению, чтобы не дать хода жалобе, которая могла бы привести неосторожного молодого человека на каторгу. То же самое, пожалуй, было бы сделано и для почтенной либеральной семьи, не слишком открыто враждебной престолу и церкви. При таком положении вещей дю Круазье нелегко было добиться принятия жалобы и ареста молодого графа. Вот каким образом председателю суда и дю Круазье удалось все же достичь цели.

Соваже, молодой адвокат роялистского образа мыслей, который получил место первого помощника прокурора только потому, что пресмыкался перед властью имущими, в отсутствие своего начальника вершил дела в прокуратуре. От него зависело дать ход жалобе дю Круазье и распорядиться начать следствие. Соваже, человек незначительный и к тому же без всяких средств, жил исключительно на жалованье. Власти всецело рассчитывали на чиновника, который во всем от них зависел. Председатель суда сумел воспользоваться этим обстоятельством.

В тот день, когда желанный документ очутился в руках дю Круазье, г-жа дю Ронсере, по наущению мужа, долго разговаривала с Соваже; она старательно подчеркивала, как ненадежна карьера сменяемого чиновника прокуратуры: достаточно каприза министра, одного случайного

промаха, чтобы погубить все его будущее.

— Если вы добросовестный человек и откажетесь поддержать несправедливое требование властей, — вы пропали. И вот, — сказала супруга председателя помощнику прокурора, — вы можете сейчас умно использовать ваше положение, чтобы выгодно жениться, а это навсегда оградит вас от несчастных случайностей; имея состояние, вам нетрудно будет получить пост несменяемого судьи. Что и говорить, случай — единственный в своем роде. У господина дю Круазье, как вам известно, никогда не будет детей; все состояние его и жены перейдет к их племяннице, мадемуазель Дюваль. Господин Дюваль — владелец металлургического завода, у него самого кругленький капитал, да и отец его — он еще жив — человек со средствами. У обоих Дювалей не меньше миллиона, и они удвоят этот капитал с помощью дю Круазье, который теперь связан с крупными парижскими банками и промышленниками. Родители мадемуазель Дюваль, конечно, выдадут свою дочь согласно желанию ее дядюшки, господина дю Круазье, — во внимание к двойному наследству, которое получит его племянница, — ведь у жены дю Круазье нет родственников, и она тоже, без сомнения, обяжется по свадебному контракту отписать все мадемуазель Дюваль. Вам известна ненависть дю Круазье к д'Эгриньонам, окажите ему услугу, станьте на его сторону, дайте ход его жалобе на молодого д'Эгриньона, который совершил подлог. Начните судебное преследование немедленно, не запрашивая мнения прокурора. А затем — молитесь богу, чтобы министр сместил вас за беспристрастное выполнение вашего долга, вопреки намерениям властей — и счастье ваше обеспечено. У вас будет очаровательная жена, и вы получите приданое, которое даст вам тридцать тысяч франков годового дохода, — не говоря о надеждах еще на четыре миллиона, которые перейдут к вам лет через десять.

Чтобы уговорить первого помощника прокурора, понадобился еще один вечер. Председатель суда и Соваже решили держать все дело в тайне от старика судьи, от Мишю и младшего товарища прокурора. Уверенный в беспристрастии Блонде, — если ему будут предъявлены убедительные улики, — председатель твердо рассчитывал на большинство, не считая Камюзю. Но все эти расчеты рухнули, так как судебный следователь неожиданно перешел на сторону врага. Председатель добивался, чтобы жалобе был дан ход, прежде чем о ней узнает прокурор. Но не предупредят ли его Камюзю или младший товарищ прокурора?

Знакомство с семейной жизнью судебного следователя Камюзю, вероятно, поможет читателю понять, почему Шенель надеялся привлечь молодого чиновника на сторону д'Эгриньонов и отважился обратиться к нему прямо на улице, пытаясь соблазнить его. Камюзю, сын — от первой жены — известного парижского торговца шелком, обосновавшегося на улице Бурдонне, вступил на судебное поприще по желанию отца, который питал на его счет честолюбивые замыслы. Женившись, он приобрел не только жену, но и протекцию придверника королевского кабинета, протекцию, казалось бы, скромную, но вескую; она уже принесла свои плоды — назначение на пост судьи, а затем судебного следователя. Старик Камюзю при заключении брачного контракта обеспечил сына годовым доходом в шесть тысяч франков, что равнялось приданому его покойной матери за вычетом суммы, на которую он сам притязал в качестве супруга; девица Тирион принесла Камюзю в приданое всего лишь около двадцати тысяч франков, а так как жалованье провинциального судьи не превышает тысячи пятисот франков в год, молодая чета очутилась в стесненном положении, тщательно скрывая его от посторонних глаз. Судебные следователи получают сверх своего оклада тысячу франков на чрезвычайные расходы и особые работы, связанные с их обязанностями. Поэтому должность следователя, сопряженная с утомительными трудами, служит тем не менее предметом зависти и домогательств. Поскольку судебного следователя могут во всякое время сместить, не удивительно, что г-жа Камюзю выбрала своего мужа за то, что он так некстати

разоткровенничался в присутствии председателя. Мари-Сесиль-Амели Тирион за три года своего замужества убедилась, что бог благословил ее брак: за это время она дважды, как по расписанию, разрешилась от бремени — мальчиком и девочкой. Но она смиренно молила бога впредь не благословлять ее столь щедро, так как благодаря этой милости господней их стесненная жизнь грозила превратиться в нищету. Капиталов господина Камюзотца им предстояло, видимо, ожидать еще долго. К тому же это наследство сулило не более восьми — десяти тысяч франков дохода каждому из детей торговца: у него их было четверо. А к тому времени, когда наконец сбудется то, что сваты обыкновенно именуют надеждами, следовательно, чего доброго, придется уже думать об устройстве собственных детей. Поэтому каждому будет понятно положение г-жи Камюзотца, весьма решительной и благоразумной маленькой женщины. Она слишком ясно сознавала, какие пагубные последствия может повлечь за собой каждый промах мужа, чтобы не вмешиваться в его судебскую деятельность.

Амели была единственной дочерью старого слуги Людовика XVIII, слуги, который последовал за королем в Италию, Курляндию, Англию и был пожалован должностью придверника при королевском кабинете, так как более высокие посты были ему не по плечу. На домашнюю обстановку Амели как бы падал отблеск королевского двора. Отец описывал ей вельмож, министров и других важных особ, о которых он докладывал королю, которых вводил к нему и которых видел при выходе из королевского кабинета. Не удивительно, что Амели Тирион, выросшая, так сказать, на пороге Тюильри, переняла правила жизни и поведения, господствовавшие при дворе, и усвоила закон безусловного повиновения властям предрешающим. Поэтому она мудро рассудила, что, став на сторону д'Эгриньонов, ее муж угодит герцогине Мофриньез и заслужит благоволение двух высокопоставленных семейств, которые поддержат ее отца, когда он, выбрав подходящую минуту, замолвит словечко королю. И тогда Камюзотца, при первом же благоприятном случае, будет переведен поближе к Парижу, а затем и в самый Париж. Это повышение, о котором она так мечтала, которого так жаждала, принесло бы оклад в шесть тысяч франков, удобную жизнь в доме ее отца или старика Камюзотца и все преимущества, которые сулила супругам близость богатых родителей. Если пословица «с глаз долой, из сердца вон» приложима к большинству женщин, то с еще большим правом ее можно отнести к семейным чувствам или к покровительству министров и королей. Во все времена люди, лично прислуживавшие королю, отлично устраивали свои дела; нельзя не интересоваться тем, кого видишь изо дня в день, будь это всего-навсего лакей.

Госпожа Камюзотца, надеясь, что она не заживется в этом городе, сняла маленький домик на улице Синь. Город был не особенно бойкий, и такой промысел, как сдача внаем меблированных квартир, здесь не развился. Между тем семья следователя была недостаточно богата, чтобы жить в гостинице, как Мишю. Поэтому парижанка волей-неволей довольствовалась мебелью местного изделия. Памятуя о весьма умеренных доходах мужа, она сняла этот на редкость неприглядный дом, который, впрочем, был приятен своей незатейливой простотою. Прижавшись к соседнему дому, он выходил фасадом во двор; на улицу с каждого этажа глядело одинокое окно. Двор был огорожен с двух сторон каменными стенами, окаймленными кустами роз и крушины, а в глубине его, против дома, находился навес, опиравшийся на две кирпичные арки. В этот мрачный дом, еще более омраченный тенью высокого орешника, стоявшего посреди двора, можно было проникнуть через маленькую калитку. В первом этаже, куда вело крыльцо с перилами и решеткой искусного литья, но сильно заржавевшей, устроена была столовая с окнами на улицу, а с другой стороны — кухня. В конце коридора находилась деревянная лестница во второй этаж, тоже состоявший из двух комнат — кабинета следователя и спальни. Одна из комнат мансарды предназначалась для кухарки, а вторая для горничной, вместе с которой помещались и дети. Потолки во всей квартире были пересечены побеленными

известкой балками, промежутки между которыми были оштукатурены. Две верхние комнаты и столовая в первом этаже были украшены замысловатыми панелями, говорившими о неистощимом терпении столяров XVIII столетия. Эти деревянные панели, выкрашенные в грязно-серый цвет, выглядели весьма уныло. Кабинет следователя был обставлен так же, как и все кабинеты провинциальных адвокатов: большой письменный стол, кресло красного дерева, книжный шкаф с необходимыми для каждого изучающего право книгами, скудная мебель, привезенная из Парижа. В комнате г-жи Камюзоб обстановка была местного происхождения: белые с голубым ткани, ковер и та причудливая мебель, которая может сойти за модную; но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что все это — фасоны, отвергнутые Парижем. Что касается комнаты в нижнем этаже, это была обычная провинциальная столовая: голая, холодная, с отсыревшими и выцветшими обоями. И в этой неприглядной комнате, с видом на орешник, на ограду, обрамленную мрачной листвой, на пустынную улицу, живая, веселая женщина, привыкшая к развлечениям и шуму Парижа, проводила весь день одна или в обществе скучных и глупых гостей; она даже предпочитала одиночество их пустой болтовне; ведь стоило ей позволить себе проблеск остроумия, и начинались бесконечные кривотолки, только ухудшавшие ее положение. Дети она занималась не столько из любви к ним, сколько для того, чтобы хоть чем-нибудь скрасить свою почти отшельническую жизнь. Ум ее питался лишь одним: интригами, которые завязывались вокруг нее, происками обывателей, их честолюбивыми устремлениями, всегда узкими и ограниченными. Поэтому она легко проникала в тайны, о которых даже и не подозревал ее муж. Сидя у окна в своей комнате и уронив на колени вышивание, Амели видела перед собой не навес, под которым лежали дрова, не горничную, занимавшуюся стиркой, — а Париж, где все радуется глаз, все полно жизни; она мечтала о столичных празднествах, она оплакивала свою жизнь в холодной провинциальной тюрьме. Она сокрушалась о том, что живет в тихом городке, где нет и не будет ни заговоров, ни громких дел. И ей чудилось, что она долго еще будет прозябать в этом углу, в тени орешника.

Госпожа Камюзоб была маленькая белокурая женщина, полная и свежая, с чересчур выпуклым лбом, тонкими губами и выступающим вперед подбородком — черты, еще как-то скрашиваемые молодостью, но рано придающие женщине старообразный вид. Ее глаза, живые, умные, но слишком ясно выражавшие простодушную жажду успеха и зависть к чужой удаче, порожденную приниженным положением, двумя огоньками освещали это заурядное лицо, как бы облагораживая его силою чувства, которое исчезнет впоследствии, когда придет успех. Амели прибегала ко всевозможным ухищрениям, чтобы получше одеться, изобретала отделки, вышивки; она обдумывала свои наряды вместе с горничной, вывезенной из Парижа, и поддерживала этим в провинции свою репутацию парижанки. В городе побаивались язвительности Амели и не любили ее. Наблюдательная и хитрая, как большинство праздных женщин, которым нечем заполнить свой день, она проникла в конце концов в сокровенные замыслы председателя; поэтому она посоветовала Камюзоб объявить ему войну. Дело молодого графа могло послужить следователю превосходным поводом для открытия военных действий. Прежде чем отправиться на вечер к г-ну дю Круазье, она без труда доказала мужу, что в этом деле старший помощник прокурора действует наперекор намерениям начальства. Задача Камюзоб — воспользоваться этим процессом как ступенью для успеха, оказав услугу семье д'Эгриньонов, гораздо более влиятельной, чем сторонники дю Круазье.

— Девуцу Дюваль никогда не выдадут за Соваже, это только приманка. Наши Макиавелли^[36] с улицы Валь-Нобль, ради которых он готов пожертвовать своим положением, обведут его вокруг пальца. Ты увидишь, Камюзоб, что этот несчастный для д'Эгриньонов процесс, эта коварная затея председателя, который действует в интересах дю Круазье, окажется тебе на руку, — сказала Амели мужу, вернувшись домой.

Хитрая парижанка поняла, что председатель тайно ведет осаду Бландюро, ей было ясно, почему он силится разрушить планы старика Блонде, но она не видела для себя выгоды в том, чтобы предупредить судью или его сына об угрожавшей им опасности; она развлекалась завязавшейся комедией, не подозревая всего значения раскрытой ею тайны: предложения, сделанного родителями мадемуазель Бландюро от имени Фабиена дю Ронсере через посредство преемника Шенеля. В случае если бы председатель попытался вредить ее мужу, г-жа Камюзо могла бы, в свою очередь, пригрозить дю Ронсере, что она предупредит садовода о замышляемом похищении цветка, который Блонде надеялся пересадить в свою оранжерею.

Шенель не сумел отгадать, подобно г-же Камюзо, какими средствами дю Круазье и председатель суда перетянули на свою сторону старшего помощника прокурора, но, стремясь разобраться в различных людях и интересах, сосредоточенных вокруг геральдических лилий королевского суда, он решил, что может рассчитывать на прокурора, Камюзо и Мишю. А раз двое судей на стороне д'Эгриньонов — этого достаточно, чтобы приостановить процесс. Наконец, нотариус был хорошо осведомлен о заветных мечтах старика Блонде и не без оснований рассчитывал, что даже этот беспристрастный человек пойдет на сделку с совестью ради цели всей своей жизни — назначения сына на пост заместителя судьи. И Шенель заснул, полный надежд: он решил, что пойдет к Блонде и поможет ему осуществить его давнюю мечту, открыв старику глаза на вероломство председателя дю Ронсере. Приобретя этим поддержку судьи, Шенель рассчитывал вступить в переговоры со следователем, которого надеялся убедить если не в полной невинности Виктюрье, то хотя бы в том, что он совершил лишь неосторожность, и свести все дело к опрометчивому поступку ветреного юноши. Сон Шенеля не был ни спокоен, ни долог, ибо на рассвете домоправительница разбудила его, доложив о прибытии самого обворожительного персонажа этой повести, принявшего вид самого обаятельного юноши в мире, — герцогини де Мофриньез, которая приехала в карете, одна, переодетая мужчиной.

— Я здесь, чтобы спасти его или погибнуть вместе с ним, — сказала она нотариусу, которому казалось, что он все еще спит и видит сон. — У меня с собой сто тысяч франков, — их дал мне король из своих личных средств, чтобы купить подтверждение невинности Виктюрье, если его враг продажен. На случай неудачи я привезла яд, который избавит графа от всего, даже от обвинения. Но неудачи не будет. Следом за мной едет королевский прокурор, которого я известила о том, что здесь происходит; он не мог явиться вместе со мной, так как дожидается указаний от министра юстиции.

Шенель ответил герцогине не менее драматической сценой: завернувшись в халат, он упал к ее ногам и поцеловал их, прося извинить его за то, что он от радости забылся.

— Мы спасены, — воскликнул старик, отдавая одновременно распоряжение Бригитте приготовить для герцогини все необходимое после ночи, проведенной в почтовой карете.

Взывая к мужеству прекрасной Дианы, он просил ее отправиться с ним к судебному следователю не мешкая, пока еще не совсем рассвело, ввиду необходимости держать это посещение в тайне, чтобы никто не мог даже подозревать о прибытии герцогини де Мофриньез.

— Разве мой паспорт не в порядке? — спросила герцогиня, показав Шенелю документ на имя виконта Феликса де Ванденеса, докладчика в государственном совете и личного секретаря короля. — И разве я так уж плохо играю роль мужчины? — продолжала она, поправляя локоны своего модного парика и играя хлыстом.

— Ах, госпожа герцогиня, вы — ангел! — воскликнул Шенель со слезами на глазах. (Ей суждено было всегда оставаться ангелом, даже в мужском костюме.) — Застегните ваш сюртук, закутайтесь получше в плащ, обопритесь на мою руку, и побежим к Камюзо, пока на улицах никого нет.

— Я, значит, увижу человека по имени Камюзоз?

— Да, и к тому же обладателя носа, достойного этого имени^[37].

Старик нотариус, несмотря на глубокое душевное смятение, считал необходимым подчиняться капризам герцогини, — смеяться, когда она смеялась, плакать, когда она плакала; но его поражало легкомыслие этой женщины, которая, даже занимаясь важным делом, находила в нем повод для шуток. Но чего бы не сделал он ради спасения Виктюрье? Пока Шенель одевался, г-жа де Моффриньез пила кофе со сливками, поданный ей Бригиттой; герцогиня нашла, что провинциальные кухарки превосходят парижских поваров, которые пренебрегают тонкостями, столь важными для подлинных знатоков. Благодаря предусмотрительности, к которой Бригитта приучилась на службе у своего хозяина, любителя покушать, она могла подать герцогине превосходный завтрак. Затем Шенель и его очаровательный спутник направились к дому супругов Камюзоз.

— А! Существует и госпожа Камюзоз? — сказала герцогиня. — Ну, тогда все уладится.

— Тем более, — ответил Шенель, — что госпожа Камюзоз явно скучает в нашем провинциальном обществе, она — парижанка.

— В таком случае с ней можно говорить откровенно.

— Вы сами решите, что ей открыть и о чем умолчать, — смиренно сказал Шенель. — Я полагаю, что госпоже Камюзоз будет чрезвычайно лестно принять у себя герцогиню де Моффриньез. Чтобы не рисковать, вам придется, вероятно, остаться у нее до наступления темноты, если только вы не сочтете это неудобным.

— А что, она хорошенькая, эта госпожа Камюзоз? — спросила герцогиня с фатоватым видом.

— В своем доме она, можно сказать, королева, — ответил нотариус.

— В таком случае она, несомненно, вмешивается в судебные дела, — продолжала герцогиня. — Лишь во Франции, любезный господин Шенель, жены сочетаются браком не только с мужьями, но и с их делами — должностью, торговлей или другими занятиями. В Италии, Испании, Англии жены считают для себя зазорным заниматься делами и всецело предоставляют это мужьям. Они знать не желают о делах и так же упорно отстаивают свое право на это неведение, как наши французские мещаночки — право на полную осведомленность, особенно если дело касается общности имущества супругов, — так, кажется, это называется на вашем юридическом языке? Француженки — народ ревнивый, и в вопросах семейной политики они хотят знать все. Вот почему во Франции, при любых жизненных осложнениях, чувствуется, что за спиной мужчины стоит женщина — она руководит мужем, дает ему советы и указания. Мужчины от этого обычно только выигрывают. А в Англии, если женатый человек за долги попадет на сутки в тюрьму, то по его возвращении домой жена, чего доброго, устроит ему сцену ревности.

— Ну вот мы и пришли — и никого не встретили, — сказал Шенель. — Герцогиня, в этом доме вы будете царь и бог: ведь отец госпожи Камюзоз — придверник при кабинете короля, по имени Тирион.

— А король и не вспомнил об этом! Он ни о чем не думает! — воскликнула герцогиня. — Ведь Тирион-то и докладывал о нас — принце де Кадиньяне, господине де Ванденесе и обо мне! Да, здесь — мы хозяйева. Обсудите все хорошенько с мужем, а я тем временем поговорю с супругой.

Горничная, занятая умыванием и одеванием двоих детей, ввела посетителей в холодную и тесную столовую.

— Отнесите эту карточку вашей хозяйке, — сказала герцогиня на ухо горничной, — но вручите лично ей. Если вы будете скромны, моя милая, вас поблагодарят.

Горничная, услышав женский голос и глядя на прелестное лицо юноши, стояла как громом пораженная.

— Разбудите господина Камюзо, — сказал ей Шенель, — и скажите, что я его жду. У меня к нему важное дело.

Горничная поднялась наверх. Через несколько мгновений г-жа Камюзо в утреннем платье опрометью сбежала с лестницы и повела к себе красивого незнакомца, предварительно втолкнув в кабинет полуодетого Камюзо вместе с предметами его туалета и приказав ему одеться и ждать ее. Весь этот переполох произвела визитная карточка, на которой было написано: «Герцогиня де Мофриньез». Дочь придверника при кабинете короля поняла все.

— Ну и дела, господин Шенель, можно подумать, что в наш дом молния ударила, — вполголоса сказала горничная. — Барин одевается в своем кабинете, вы можете пройти к нему.

— Никому ни слова! — ответил нотариус.

Шенель, чувствуя поддержку знатной дамы, заручившейся устным согласием короля на любые меры, необходимые для спасения графа д'Эгриньона, принял властный вид; на Камюзо это подействовало гораздо сильнее, чем смирение, которое выказал бы нотариус, будь он одинок и беспомощен.

— Сударь, — начал Шенель, — вас, может быть, удивили вчера мои слова, но я говорил серьезно. Семья д'Эгриньонов рассчитывает, что вы сумеете правильно повести следствие по делу, из которого она должна выйти с незапятнанным именем.

— Сударь, — ответил следователь, — я не стану говорить о том, как оскорбительны ваши слова для меня лично, а в моем лице и для правосудия. Ваше положение в доме д'Эгриньонов служит вам некоторым оправданием. Но...

— Простите, что я перебиваю вас, — сказал Шенель. — Я высказал вам то, что думаю, но не может высказать вслух ваше начальство; люди с головой должны это понять, а ведь вы — человек с головой. Допустим даже, что юноша поступил опрометчиво. Но неужели вы думаете, что королю, двору и министерству будет приятно, если в суде присяжных будут позорить такое имя, как д'Эгриньон? Разве падение знатных исторических домов — в интересах королевской власти, да и вообще в интересах страны? Возьмите равенство, этот лозунг современной оппозиции. Разве существование высшей аристократии, освященной временем, не является одной из его гарантий? А ведь в этом деле даже и опрометчивости не было; мы попросту — ни в чем не повинные люди, попавшие в расставленную нам ловушку.

— Любопытно было бы знать — как? — сказал следователь.

— Сударь, — продолжал Шенель, — в продолжение двух лет господин дю Круазье безотказно разрешал графу д'Эгриньону выписывать на него переводные векселя на крупные суммы. Мы представим вам векселя на сумму свыше ста тысяч экю, уже оплаченные графом, причем деньги вносил я — заметьте хорошенько — иногда до, иногда по истечении срока платежа. Граф д'Эгриньон может представить расписку, выданную ему еще до того числа, которым помечен чек, рассматриваемый как подложный. Разве вам не ясно теперь, что жалоба дю Круазье — плод ненависти и партийных раздоров? И не есть ли это обвинение — подлый навет опаснейших врагов престола и церкви на наследника старинного дворянского рода? Во всем этом деле не больше подлога, чем в моей нотариальной конторе. Вызовите к себе госпожу дю Круазье, которой еще неизвестно о подаче жалобы, и она подтвердит вам, что я внес ей деньги и что она оставила их у себя для передачи отсутствовавшему тогда мужу, который их почему-то у нее не требует. А допросите дю Круазье — и он вам, наверное, скажет, что ему неизвестно о внесении мною денег госпоже дю Круазье.

— Сударь, — отозвался следователь, — подобные утверждения вы можете делать в гостиной маркиза д'Эгриньона или высказывать их людям, ничего не смыслящим в делах, — они

вам, возможно, поверят. Но судебный следователь, если только он не безнадежный тупица, никогда и мысли не допустит, чтобы столь покорная жена, как госпожа дю Круазье, хранила у себя сто тысяч экю, ни слова не сказав о них мужу, или что старик нотариус не известил дю Круазье по его приезде об уплате денег.

— Старик нотариус уехал в Париж, сударь, чтобы положить конец рассеянной жизни графа.

— Я еще не допрашивал графа д'Эгриньона, — сказал следователь, — его показания прольют свет на это дело.

— Он в одиночном заключении? — спросил нотариус.

— Да, — ответил следователь.

— Сударь, — воскликнул Шенель, поняв, какая опасность грозит графу, — вы, как следователь, можете быть за или против нас; перед вами выбор — либо установить, исходя из показаний госпожи дю Круазье, что деньги были внесены до предъявления чека, либо допросить обвиненного в подлоге несчастного юношу, который в смятении может все перепутать и погубить себя. Решите сами, что правдоподобнее: забывчивость женщины, ничего не смыслящей в делах, или подлог, совершенный одним из д'Эгриньонов.

— Не в том дело, — возразил следователь, — нам надо установить, превратил ли граф д'Эгриньон в чек последнюю страницу письма, адресованного ему господином дю Круазье.

— Он имел на то полное право, — воскликнула г-жа Камюзю, стремительно входя в комнату в сопровождении прекрасного незнакомца. — Ведь господин Шенель уже внес деньги... — Она наклонилась к мужу и зашептала ему на ухо: — Ты будешь заместителем судьи в Париже при первой же вакансии. В этом деле заинтересован сам король, у меня есть полная уверенность, тебя не забудут. Этот молодой человек — герцогиня де Мофриньез, только не проболтайся, что ты ее видел; выгораживай смелее молодого графа.

— Господа, — сказал Камюзю, — если даже я, как следователь, дам заключение в пользу д'Эгриньона, могу ли я отвечать за приговор суда? Господину Шенелю и тебе, моя милая, ведь известны намерения председателя суда.

— Та-та-та, — ответила г-жа Камюзю, — повидайся сегодня же утром с господином Мишо, расскажи ему об аресте молодого графа, и вас уже будет двое против двоих, ручаюсь тебе. Ведь Мишо — парижанин, и ты знаешь, как он предан аристократии. Рыбак рыбака видит издалека.

В это время у дверей раздался голос мадемуазель Кадо, доставившей следователю срочное письмо. Камюзю вышел и тотчас же вернулся, читая вслух следующие строки:

«Заместитель председателя суда просит господина Камюзю присутствовать на судебных заседаниях сегодня и в последующие дни, дабы суд мог работать в полном составе во время отсутствия господина председателя.

Примите и проч.».

— Конец следствию по делу д'Эгриньона! — воскликнула г-жа Камюзю. — Не говорила ли я тебе, друг мой, что они сыграют с тобой скверную шутку? Председатель уехал, чтобы оклеветать тебя перед генеральным прокурором и председателем королевского суда. Тебя сместят, прежде чем ты успеешь закончить следствие. Теперь тебе ясно?

— Вы сохраните свое место, сударь, — сказала герцогиня. — Надеюсь, что королевский прокурор прибудет вовремя.

— К приезду королевского прокурора, — с азартом воскликнула г-жа Камюзю, — все должно быть закончено. Да, да, мой милый, — сказала она, глядя на остолбеневшего мужа. — А этот старый лицемер, председатель суда, задумал нас перехитрить, это ему припомнится! Ты собираешься поднести нам сюрприз, а твоя покорная слуга Сесиль-Амели Тирион приготовит

тебе целых два! Бедный чудак Блонде! Ему повезло, что председатель уехал добиваться нашего смещения. Теперь-то он женит своего увальня на мадемуазель Бландюро. Да, придется как следует встряхнуть старика. Ты, Камюзо, отправляйся к Мишю, а мы с герцогиней тем временем побываем у Блонде. Не удивляйся, если сегодня по городу пройдет слух, что я прогуливалась утром с любовником.

Госпожа Камюзо взяла под руку герцогиню и повела ее к дому старика судьи самыми глухими закоулками, во избежание нежелательных встреч. А Шенель отправился в тюрьму, куда его тайком провел Камюзо, чтобы переговорить с молодым графом. Кухарки, лакеи и встающие рано обыватели, видевшие г-жу Камюзо с герцогиней в каком-нибудь отдаленном уголке города, приняли молодого человека за ее любовника, приехавшего из Парижа. Как и предвидела Сесиль-Амели, вечером слухок о ее неприличном поведении уже передавался из уст в уста, со злоречивыми прибавлениями. Г-жа Камюзо и ее мнимый любовник застали старика Блонде в оранжерее; он поздоровался с женой своего коллеги, а на прелестного юношу бросил тревожный и испытующий взгляд.

— Разрешите представить вам двоюродного брата моего мужа, — сказала г-жа Камюзо, кивнув в сторону герцогини, — одного из известных парижских садоводов. Он здесь проездом из Бретани и задержался у нас на один только день. Он много наслышан о ваших цветах и кустах, и я взяла на себя смелость привести его к вам в такую рань.

— А! Так вы, сударь, садовод! — сказал Блонде.

Герцогиня молча поклонилась.

— Взгляните, — продолжал судья. — Это мое кофейное дерево. А это — чайное.

— Почему, хотелось бы мне знать, вдруг изволил отбыть господин председатель? — спросила г-жа Камюзо. — Держу пари, что этот отъезд имеет отношение к моему мужу.

— Именно так. Вот, сударь, самый оригинальный кактус в мире, — сказал Блонде, показывая гостю горшок с растением, походившим на изъеденный проказой индийский тростник. — Он привезен из Новой Голландии. Вы что-то очень молоды, сударь, для садовода.

— Оставьте ваши цветы, дорогой господин Блонде, — сказала г-жа Камюзо. — Дело идет о вас самих, о ваших надеждах, о браке вашего сына с мадемуазель Бландюро. Председатель хочет оставить вас в дураках.

— Полноте... — недоверчиво произнес судья.

— Да, — продолжала она. — Если бы вы больше интересовались светом и меньше своими цветами, то знали бы, что и приданое, и надежды, которые вы лелеяли, пестовали, растили, выхаживали, — все это будет вот-вот сорвано рукой хитреца.

— Сударыня!

— Да! Ни у кого в городе не хватит мужества открыть вам глаза и тем самым отважиться на разрыв с председателем. Но я здесь чужая, я скоро переселюсь в Париж, мне поможет этот молодой человек. Так вот говорю вам, что преемник Шенеля официально просил руки девицы Клэр Бландюро от имени молодого дю Ронсере, которому отец и мать дают пятьдесят тысяч экю. Фабиен обещал при этом сделаться адвокатом и добиваться назначения на должность судьи.

Старик уронил горшок с кактусом, который собирался показать герцогине.

— О, мой кактус! О, мой сын! Мадемуазель Бландюро!.. Ну вот... Сломался цветок кактуса!

— Да нет же, все еще можно поправить, — сказала, смеясь, г-жа Камюзо. — Хотите видеть сына через какой-нибудь месяц в судейском кресле? Мы скажем вам, как взяться за дело.

— Пройдите сюда, сударь, посмотрите мою герань. Это сказочное зрелище — она теперь как раз в цвету. Зачем, — спросил Блонде у г-жи Камюзо, — вы говорите со мной обо всех этих делах в присутствии вашего двоюродного брата?

— Все зависит от него, — быстро ответила г-жа Камюзо. — Забудьте и думать о назначении вашего сына, если вы когда-нибудь обмолвитесь об этом молодом человеке.

— О!

— Этот молодой человек — редкостный цветок.

— А!

— Это герцогиня де Мофриньез, посланная королем, чтобы спасти молодого д'Эгриньона, которого вчера арестовали по обвинению в подлоге. Жалоба подана дю Круазье. Герцогиню поддерживает министр юстиции, и все, что она обещает, будет выполнено.

— Кактус уцелел! — сказал судья, подвергавший тщательному осмотру драгоценное растение. — Да, так что вы говорите?..

— Посовещайтесь с Камюзо и Мишо. Постарайтесь побыстрее замять это дело, — и сын ваш будет судьей. Это назначение подоспеет вовремя, оно позволит вам положить конец интригам, которыми дю Ронсере оплел семью Бландюро. И не заместителем судьи будет ваш сын, а кое-чем получше: он еще до конца года станет преемником Камюзо. Сегодня приезжает королевский прокурор, и Соваже придется выйти в отставку ввиду позиции, занятой им в этом деле. Мой муж предъявит вам в суде документы, которые устанавливают невинность графа и доказывают, что вся история с подлогом — ловушка, расставленная дю Круазье.

Старик судья вошел в своего рода олимпийский цирк, на уступах которого расположились шесть тысяч цветочных горшков с геранью. Он поклонился герцогине и сказал:

— Сударь, если то, чего вы добиваетесь, — законно, все будет сделано.

— Сударь, — ответила герцогиня, — передайте завтра ваше прошение об отставке Шенелю, и я даю вам слово, что через неделю ваш сын получит назначение. Но прежде переговорите с королевским прокурором, пусть он подтвердит вам мои слова... Вы, юристы, свои люди, вам легче будет столкнуться между собой. Но скажите ему, что герцогиня де Мофриньез дала вам слово. Прошу вас никому не говорить о моем приезде, — добавила она.

Старик поцеловал руку герцогини и, безжалостно срезав самые прекрасные цветы, подал ей букет.

— О нет, что вы! Преподнесите их лучше госпоже Камюзо, — воскликнула герцогиня. — Это выглядело бы противоестественно: цветы в руках молодого человека, идущего под руку с хорошенькой женщиной!

— Прежде чем отправиться в суд, — сказала Блонде г-жа Камюзо, — пойдите к преемнику Шенеля и выпытайте у него правду о предложении, которое он сделал родителям Клэр Бландюро от имени господина и госпожи дю Ронсере.

Старик судья, пораженный двуличием председателя, неподвижно стоял у ограды и глядел вслед двум своим посетительницам, которые почти бегом направились домой, выбирая наименее людные улицы. Здание, которое он целых десять лет с таким трудом возводил для любимого сына, рушилось у него на глазах. Возможно ли это? Он заподозрил какую-то каверзу и поспешил к преемнику Шенеля.

Ровно в половине десятого, перед самым началом заседания, заместитель председателя суда Блонде, следователь Камюзо и старший помощник судьи Мишо уже были в совещательной комнате; тотчас после прихода Камюзо и Мишо, которые явились вместе, старик судья запер дверь.

— Что ж это, господин заместитель председателя, — сказал Мишо, — господин Соваже, оказывается, отдал предписание об аресте графа д'Эгриньона, не поставив в известность прокурора? Он потворствует каверзам какого-то дю Круазье, врага правительства! Да это, что называется, шиворот-навыворот. Председатель, в свою очередь, уезжает и тем самым приостанавливает следствие! А нам ничего и не известно об этом процессе! Уж не собираются

ли они связать нам руки?

— Впервые слышу об этом деле, — сказал Блонде, весь кипевший при мысли, что председатель обхаживает Бландюро.

Преемник Шенеля, приверженец дю Ронсере, попался на удочку, которую закинул старик судья, чтобы выведать у него правду, и рассказал все, как было.

— Хорошо еще, что мы уведомляем вас об этом, уважаемый коллега, — сказал Камюзо Блонде, — иначе не видать бы вашему сыну ни судейских лилий, ни мадемуазель Бландюро.

— Мой сын и его женитьба здесь ни при чем, — отозвался судья. — Речь идет о графе д'Эгриньоне: виновен он или нет?

— По-видимому, — сказал Мишю, — деньги были переданы Шенелем госпоже дю Круазье. Из простого нарушения формальностей создали преступление. Если верить жалобе, молодой человек отрезал конец письма с подписью дю Круазье и превратил его в чек на банк Келлеров.

— Неосторожность! — вставил Камюзо.

— Но если дю Круазье получил деньги, почему же он подал жалобу? — спросил Блонде.

— Он еще не знает, что деньги были переданы его супруге, а быть может, просто прикидывается, — сказал Камюзо.

— Месть провинциала, — ввернул Мишю.

— И все-таки это походит на подлог, — возразил старик Блонде, у которого никакая страсть не могла замутичь чистоту судейской совести.

— Вы полагаете? — сказал Камюзо. — Но если даже допустить, что граф не имел права предъявлять чек за подписью дю Круазье, здесь не было подделки подписи. Но он счел, что это право у него есть: ведь Шенель уведомил его, что деньги внесены.

— Тогда где же здесь подлог? — спросил Блонде. — Сущность подлога, по гражданскому законодательству, — это нанесение материального ущерба другому лицу.

— Если даже придерживаться толкования дю Круазье, — продолжал Камюзо, — то ясно, что граф просто воспользовался чужой подписью с целью получить деньги у банкира вопреки распоряжению дю Круазье не предоставлять ему дальнейшего кредита.

— Ну, это уж, господа, по-моему, сущие пустяки, мелкая придирка, — произнес Блонде. — Ведь деньги были внесены. Графу д'Эгриньону, пожалуй, следовало бы дожидаться чека, но поскольку ему срочно понадобились деньги, он их... Полноте! Месть, расходившиеся страсти — вот что такое ваша жалоба. По мысли законодателя, подлог возникает там, где существует намерение присвоить себе чужие деньги, воспользоваться какой-либо выгодой, не имея на то права. Здесь мы подлога признать не можем: ни в римском, ни в современном законодательстве мы не найдем для этого никаких оснований — в рамках гражданского права, разумеется, так как в этом деле нет ни подделки официального документа, ни подделки подписи должностного лица. Частное право связывает подлог с намерением совершить кражу, а какая же здесь кража? Но в какие времена мы живем, господа! Председатель суда покидает город, чтобы затянуть следствие, которое должно было бы уже закончиться! Я только сегодня раскусил этого господина — нашего почтенного председателя, но отплачу ему за свою ошибку, и даже с процентами за просрочку. Пусть отныне сам пишет свои решения. Вы должны, господин Камюзо, действовать со всей возможной быстротой.

— Да. Я считаю, — сказал Мишю, — что недостаточно выпустить графа на поруки, надо немедленно снять с него обвинение. Все зависит от допроса дю Круазье и его жены. Вы можете их вызвать в суд во время заседания, господин Камюзо, допросить до четырех часов, составить доклад сегодня вечером, а завтра, еще до заседания, мы все обсудим.

— Во время прений сторон мы решим, как нам действовать дальше, — сказал Блонде следователю.

Трое судей облачились в свои мантии, и заседание началось.

В полдень епископ вместе с мадемуазель Армандой прибыл в отель д'Эгриньон, где уже находились Шенель и г-н Кутюрье. После краткого совещания между прелатом и духовником г-жи дю Круазье последний поспешил к своей духовной дочери.

В одиннадцать часов утра дю Круазье получил повестку: ему предлагалось явиться между часом и двумя в кабинет судебного следователя. Он пришел в суд, охваченный вполне понятной тревогой. Председатель, который не мог предвидеть ни приезда герцогини де Мофриньез, ни близкого возвращения королевского прокурора, ни внезапного сговора трех судей, не позаботился наметить для Круазье план действий на случай, если начнется следствие. Оба не ожидали такого быстрого развития событий. Круазье поспешил явиться в суд, чтобы узнать, как настроен Камюзо. Ему пришлось давать показания. Следователь задал ему шесть вопросов: «Является ли подлинной его подпись на документе, который оспаривается им как подложный? — Состоял ли он, дю Круазье, до этого случая в каких-либо деловых отношениях с графом д'Эгриньоном? — Не получал ли граф д'Эгриньон какие-либо суммы по переводным векселям на дю Круазье, с последующим извещением или без извещения? — Не написал ли он, дю Круазье, письма графу с разрешением в любое время рассчитывать на его кредит? — Не погашал ли Шенель уже несколько раз долги графа д'Эгриньона? — Не отлучался ли он, дю Круазье, из города в таких-то числах?»

На все эти вопросы дю Круазье ответил утвердительно. Несмотря на его многословные объяснения, следователь неизменно приводил банкира к необходимости простого выбора между «да» и «нет». Когда вопросы и ответы были занесены в протокол, следователь ошеломил дю Круазье следующим заключительным вопросом: «Было ли ему, дю Круазье, известно, что сумма, обозначенная в чеке, который он объявляет подложным, внесена ему, дю Круазье, еще за пять дней до числа, выставленного на чеке, — согласно показанию Шенеля и уведомлению, посланному вышеупомянутым Шенелем графу д'Эгриньону?»

Этот вопрос испугал дю Круазье. Он спросил, что означает подобный вопрос. Уж не он ли — обвиняемый, а граф д'Эгриньон — истец? Он заметил, что если бы деньги были у него, он не подал бы жалобу на графа.

— Суд доискивается истины, — сказал следователь, отпуская его. Предварительно он внес в протокол последнее замечание дю Круазье.

— Но, сударь, деньги...

— Деньги у вас, — сказал следователь.

Явился в суд и Шенель, вызванный на тот же час. Правдивость его объяснений была подтверждена показаниями г-жи дю Круазье. Следователь уже допросил графа д'Эгриньона; тот, по указанию Шенеля, предъявил ему первое письмо дю Круазье, в котором банкир предоставлял графу право выписывать переводные векселя на его имя, не обижая его предварительным внесением денег. Затем он показал следователю письмо Шенеля, в котором нотариус уведомлял графа о внесении им г-ну дю Круазье ста тысяч экю. Учтя все эти обстоятельства, суд признал молодого графа невиновным. Круазье вернулся домой бледный от гнева, с таким трудом сдерживая ярость, что на губах у него даже выступила пена. Он застал жену в гостинной, у камина; она вышивала ему туфли. Взглянув на него, она задрожала, но решила покориться неизбежному.

— Сударыня, — крикнул дю Круазье, запинаясь от гнева, — что вы такое показали у следователя? Вы меня опозорили, предали, погубили!

— Я вас спасла, сударь, — ответила г-жа дю Круазье. — Если вы когда-либо породнитесь с д'Эгриньонами, если ваша племянница выйдет замуж за молодого графа, то за эту высокую честь благодарите меня и мое сегодняшнее поведение.

— Чудеса! Валаамова ослица заговорила, — воскликнул дю Круазье, — теперь я уж ничему не удивлюсь. А где сто тысяч экую, которые, по словам Камюзо, находятся у меня?

— Вот они, — ответила ему жена, вытаскивая пачку банковых билетов из-под подушки кресла. — Я не совершила смертного греха, заявив, что господин Шенель вручил их мне.

— В мое отсутствие?

— Вас тут не было.

— Вы мне клянетесь в этом своим вечным спасением?

— Клянусь, — сказала она спокойно.

— Почему вы мне ничего не сказали? — спросил он.

— Это мое упущение. Но оно послужит вам на пользу. Ваша племянница станет когда-нибудь маркизой д'Эгриньон, а вы, быть может, пройдете в депутаты, — если только умно поведете себя в этом злосчастном деле. Вы слишком далеко зашли, сумеете отступить.

Дю Круазье бегал из угла в угол по гостиной, дрожа от лихорадочного волнения, а его супруга с не меньшим волнением ждала, чем кончится эта прогулка. Наконец дю Круазье позвонил.

— Сегодня вечером я никого не принимаю, заприте парадное, — сказал он лакею. — Всем, кто придет, говорите, что мы уехали за город. Мы отправимся тотчас после обеда, позаботьтесь, чтобы он был подан на полчаса раньше обычного.

Вечером во всех гостиных, в лавочках, среди бедняков, нищих, аристократов, торговцев, — словом, во всем городе передавалась из уст в уста невероятная новость: об аресте графа д'Эгриньона по обвинению в подлоге. Говорили, что дело графа д'Эгриньона будет разбираться в суде присяжных, что его ждет суровый приговор, позорное клеймо. Те, кому была дорога честь дома д'Эгриньонов, опровергали этот слух. С наступлением темноты Шенель зашел к г-же Камюзо за юным незнакомцем, которого он проводил в отель д'Эгриньон: там их ждала несчастная Арманда. Она отвела к себе прекрасную г-жу Мофриньез, которой уступила свою комнату. Епископа поместили в комнате Виктюрьена. Когда Арманда осталась наедине с герцогиней, она бросила на нее взгляд, полный невыразимой печали.

— Ваш долг, — сказала она, — помочь бедному юноше, который погубил себя ради вас и которому все в этом доме жертвуют собой.

Герцогиня уже окинула зорким взглядом женщины комнату мадемуазель д'Эгриньон и увидела в ней, как в зеркале, всю жизнь этой благородной девицы; пустая, холодная, без малейших следов роскоши, комната эта напоминала келью монахини.

Герцогиня, взволнованная картиной прошлого, настоящего и будущего Арманды, понимая, какой невероятный контраст с этой картиной она представляет собою, не могла сдержать слез, которые потекли по ее щекам; это был ее ответ Арманде.

— Ах! Я не права, простите меня, герцогиня, — сказала Арманда, в которой чувства христианки пересилили голос крови, — вы ничего не знали о нашей нищете, мой племянник не посмел вам признаться в ней. Впрочем, глядя на вас, можно все понять, даже преступление.

У Арманды, худой и бледной, прекрасной, как те тонкие и строгие лики, которые умели писать только немецкие мастера, тоже стояли слезы в глазах.

— Утешьтесь, мой ангел, — произнесла наконец герцогиня, — он спасен.

— Да, но честь, но его будущность! Шенель сказал мне, что королю все известно.

— Мы постараемся помочь беде, — сказала герцогиня.

Арманда спустилась в гостиную, где застала Музей древностей в полном составе. Явились все завсегдатаи, чтобы приветствовать епископа и окружить вниманием маркиза д'Эгриньона. Шенель, заняв сторожевой пост в прихожей, просил каждого вновь прибывающего ни одним словом не обмолвиться об ужасном событии, чтобы почтенный старец не узнал о нем до конца

своих дней. Неподкупный потомок франков был способен убить сына или дю Круазье, признав преступником либо одного, либо другого. Как нарочно, старик, довольный возвращением сына в Париж, говорил о нем больше обыкновенного. Король вскоре упрочит положение Виктюрье, он позаботится наконец о д'Эгриньонах. Гости, глубоко подавленные, превозносили молодого графа за прекрасное поведение. Мадемуазель Арманда старалась подготовить маркиза к неожиданному появлению сына, говоря, что Виктюрье, разумеется, навестит их, что он уже, пожалуй, в пути.

— Полно! — сказал маркиз, стоя у камина. — Если он успешно выполняет свои обязанности, пусть останется там, где находится, и не думает о радости, которую его приезд доставил бы старику отцу. Служба королю — прежде всего.

Трепет охватил тех, кто расслышал слова маркиза. Ведь если Виктюрье осудят, палач коснется раскаленным железом плеча одного из д'Эгриньонов! Наступила минута томительного молчания. Старая маркиза де Катеран отвернулась: она не могла удержать слезу, скатившуюся на ее румяна.

На другой день, часов в двенадцать, возбужденные обыватели, пользуясь прекрасной погодой, высыпали на главную улицу и рассеялись по ней группами; у всех на устах было одно и то же: громкое дело графа д'Эгриньона. Правда ли, что молодой граф в тюрьме? Внезапно в конце улицы Сен-Блез, со стороны префектуры, показался хорошо знакомый всему городу тильбюри графа д'Эгриньона. Лошадью правил сам граф, находившийся в обществе никому не известного, очаровательного юноши; оба были веселы, смеялись, болтали, в петлицах у них красовались бенгальские розы. Это была одна из тех ошеломляющих неожиданностей, которые не поддаются описанию. В десять часов утра суд вынес превосходно мотивированное заключение о прекращении дела за отсутствием состава преступления, и молодому графу была возвращена свобода. Дю Круазье был как громом поражен особой оговоркой суда: д'Эгриньону предоставлялось право преследовать его за клевету. Старик Шенель как бы случайно проходил в это время по главной улице, рассказывая встречному и поперечному, что дю Круазье посягнул на честь д'Эгриньонов, расставив им низкую ловушку, и если его не привлекут к ответственности за клевету, то этой снисходительностью он будет обязан лишь всем известному благородству д'Эгриньонов. Вечером этого знаменательного дня, после того как маркиз д'Эгриньон ушел спать, молодой граф, мадемуазель Арманда и красавец паж, собравшийся уезжать, остались в гостиной вместе с шевалье, от которого нельзя было скрыть, что очаровательный юноша в действительности — женщина; за исключением трех судей и г-жи Камюзо, ему одному во всем городе было известно о приезде герцогини.

— Дом д'Эгриньонов спасен, — сказал Шенель, — но он не оправится от полученного удара за целое столетие. Теперь надо уплатить долги, и вам ничего не остается, господин граф, как жениться на богатой наследнице.

— И не слишком привередничать, — сказала герцогиня.

— Снова неравный брак! — воскликнула Арманда.

Герцогиня рассмеялась.

— Лучше уж жениться, чем умереть, — отчеканила она, извлекая из жилетного кармана флакончик, который получила в аптеке Тюильрийского дворца.

Мадемуазель Арманда содрогнулась, а Шенель взял руку красавицы герцогини и поцеловал ее, даже не испросив на то разрешения.

— Да вы, я вижу, просто безумцы, — продолжала герцогиня. — Вы застряли где-то в пятнадцатом веке, а ведь сейчас уже девятнадцатый. Дорогие мои, дворянства больше нет, существует лишь аристократия. Наполеоновский кодекс убил дворянские привилегии, как пушка убила феодализм. Имея деньги, вы станете гораздо знатнее, чем теперь. Женитесь на ком

хотите, Викторньен, и вы сделаете знатной дамой вашу жену — вот единственно прочная привилегия, оставшаяся у французского дворянства. Разве Талейран не женился на госпоже Гранд, нисколько не уронив себя? А брак Людовика Четырнадцатого со вдовой Скаррона?

— Да, но он женился не на деньгах, — сказала Арманда.

— А вы приняли бы у себя графиню д'Эгриньон, — спросил Шенель, — если она была бы племянницей какого-нибудь дю Круазье?

— Быть может, — ответила герцогиня, — но король-то уж без сомнения был бы рад видеть ее при дворе. Вы, верно, не имеете понятия о теперешних веяниях! — прибавила она, заметив, с каким удивлением ее слушают. — Викторньен побывал в Париже, он знает положение дел. При Наполеоне мы имели больше веса, чем нынче. Женитесь на мадемуазель Дюваль, женитесь на ком хотите, Викторньен, ваша жена будет такой же доподлинной маркизой д'Эгриньон, как я — герцогиня де Мофриньез.

— Все погибло, даже честь, — поникнув, сказал шевалье.

— Прощайте, Викторньен, — промолвила герцогиня, целуя юношу в лоб, — мы больше не увидимся. Самое лучшее для вас — жить на своих землях; воздух Парижа вам вреден!

— Диана! — в отчаянии воскликнул молодой граф.

— Сударь, вы забываетесь, — холодно сказала герцогиня. Отбросив роль мужчины, перестав быть возлюбленной, она снова обернулась не только ангелом, но и герцогиней, не только герцогиней, но и мольеровской Селименой.

Герцогиня де Мофриньез с достоинством поклонилась своим собеседникам, исторгнув у шевалье последнюю слезу восхищения, пролитую им в честь прекрасного пола.

— Как она напоминает мне принцессу Горица! — проговорил он вполголоса.

Диана вышла. Кучер щелкнул бичом, и этот звук напомнил Викторньену, что его прекрасному роману, его первой юношеской страсти настал конец. В минуту опасности Диана могла еще видеть в молодом графе возлюбленного; но теперь, когда он был спасен, она презирала его как человека малодушного.

Шесть месяцев спустя Камюзо получил должность заместителя судьи в Париже, а через некоторое время был назначен следователем. Мишо стал королевским прокурором. Добряк Блонде был произведен в советники при королевском суде; он пробыл в Париже ровно столько времени, сколько было необходимо для выхода в отставку, и, вернувшись в родной город, снова поселился в своем очаровательном домике. Жозеф Блонде сел на судейское кресло, которое занимал его отец, и остался в нем до конца дней своих, без всяких видов на повышение; он стал супругом мадемуазель Бландюро, которая изнывает от скуки в своем кирпичном и цветочном раю, словно карп в мраморном бассейне. Наконец, Мишо и Камюзо были награждены орденами Почетного легиона, а старик Блонде — офицерским крестом. Что касается старшего товарища прокурора Соваже, то он был переведен на Корсику, к большому удовлетворению дю Круазье, у которого, разумеется, не было ни малейшего желания выдать за него племянницу.

По наущению председателя суда, дю Круазье обратился в королевский суд с ходатайством о пересмотре дела — и проиграл. Либералы твердили на всех перекрестках, что молодой д'Эгриньон совершил подлог. Роялисты, в свою очередь, расписывали ужасные козни обуреваемого жаждой мести бесчестного дю Круазье. Между ним и Викторньеном состоялась дуэль. Она кончилась удачно для бывшего поставщика, который тяжело ранил молодого графа и как бы поддержал этим свои обвинения. Дело о подлоге еще сильнее распалило обе враждующие партии, так как либералы кстати и некстати вытаскивали его на свет божий. Дю Круазье, неизменно терпевший поражение на выборах, потерял всякую надежду выдать свою племянницу за молодого графа, особенно после дуэли.

Через месяц после утверждения приговора королевским судом Шенель, изнуренный этой

ужасной борьбой, скончался, упоенный победой, как умирает старый верный пес от клыков дикого кабана, распоровшего ему брюхо. Старик умер счастливым, насколько он мог быть счастлив, оставляя дом д'Эгриньонов почти разоренным и молодого графа в нищете, изнывающим от скуки, без всяких надежд на лучшее будущее. Эти жестокие заботы и полный упадок сил докончили бедного старика. Но среди всех потерь и огорчений, среди тяжелых невзгод на его долю выпала большая радость. Старый маркиз, уступая просьбам сестры, вернул Шенелю былую дружбу. Знатный аристократ посетил маленький домик на улице Беркай и сел у изголовья своего старого слуги, хотя так никогда и не узнал обо всех принесенных им жертвах. Шенель, приподнявшись, прочел «Ныне отпускаеши»; маркиз обещал ему, что его похоронят в фамильном склепе замка, близ могилы, где будет покоиться и сам маркиз, в ногах у своего господина, едва ли не последнего из д'Эгриньонов.

Так умер один из представителей исчезающей породы верных и бескорыстных слуг. В этом слове порой чувствуется неприятный привкус; но здесь ему возвращено его подлинное значение: феодальная привязанность вассала к своему сюзерену. Это чувство, сохранившееся ныне лишь кое-где в провинциальной глуши или у нескольких старых королевских слуг, делало честь и знати, которая умела внушать подобные привязанности, и буржуазии, которая умела их питать. Такая беспредельная и безусловная преданность в наши дни уже невозможна. Во Франции самоотверженные слуги знатных семейств отошли в прошлое, так же как неограниченные монархи, наследственные пэры или неотчуждаемые поместья, пожалованные историческим родам, чтобы навеки упрочить их величие. Шенель был не только одним из безвестных героев, действующих на поприще частной жизни, он был и поистине значительным явлением. Постоянное и бесконечное самоотречение наложило на этого человека печать величия и благородства. И разве не выше оно, чем героическая способность оказать благодеяние, требующая от человека лишь минутного усилия? Качества, обнаруженные Шенелем, можно встретить главным образом в тех слоях населения, которые занимают промежуточное положение между нищетой народа и пышным великолепием аристократии и сочетают скромные добродетели буржуа с утонченными идеями дворянина, озаряя их светом образованности.

Виктюрньен, о котором при дворе сложилось неблагоприятное мнение, не мог найти в Париже ни богатой невесты, ни должности. Король упрямо отказывался пожаловать пэрское достоинство д'Эгриньонам — единственная милость, которая могла бы спасти Виктюрньена от бедности. Пока был жив его отец, молодому графу нечего было и думать о женитьбе на дочери богатого буржуа, и он вынужден был кое-как влачить существование в отцовском доме, пробавляясь воспоминаниями о двух годах блестящей парижской жизни и о любви прекрасной герцогини. Печальный, угрюмый, он прозябал между глубоко удрученным отцом, полагавшим, что сын его болен хандрой, и снедаемой горем теткой. Шенеля с ними уже не было. Маркиз умер в 1830 году, после свидания с Карлом X, проезжавшим через Нонанкур. Великолепный д'Эгриньон, в сопровождении других знатных дворян из Музея древностей, еще достаточно бодрых для такой поездки, явился засвидетельствовать свою преданность королю и присоединиться к жалкой свите низвергнутой династии. Этот акт мужества в наши дни может показаться ничтожным, но страсти, кипевшие в дни мятежа ^[38], придавали ему в те времена оттенок величия.

Маркиз умер со словами: «Галлы торжествуют!»

И тогда оказалось, что дю Круазье одержал полную победу: через неделю после смерти старика отца Виктюрньен, теперь маркиз д'Эгриньон, согласился жениться на мадемуазель Дюваль; он получил за ней приданое в три миллиона франков; кроме того, супруги дю Круазье включили в брачный контракт обязательство завещать ей все свое состояние. Во время брачной церемонии дю Круазье заявил, что дом д'Эгриньонов не имеет себе равного среди знатных

домов Франции. Маркиза д'Эгриньона, который в один прекрасный день будет обладателем годового дохода в сто тысяч экю, можно встретить каждую зиму в Париже, где он ведет привольную холостую жизнь; у знатных вельмож прошлого он перенял лишь одно — равнодушие к жене, на которую граф не обращает никакого внимания.

«Что касается мадемуазель д'Эгриньон, — говорит Эмиль Блонде, которому мы обязаны подробным рассказом обо всех этих происшествиях, — то если она и потеряла сходство с небесным образом, который запечатлен в моей памяти со времен детства, то в возрасте шестидесяти семи лет она осталась наиболее скорбной и примечательной фигурой Музея древностей, где она все еще царит. В последний раз я видел ее, когда приезжал на родину за документами, необходимыми для моей женитьбы. Отец мой, узнав, на ком я женюсь, был так изумлен, что потерял дар слова, и вновь обрел его, лишь узнав, что я — префект.

— Ты рожден префектом, — с улыбкой произнес он.

Бродя по городу, я встретил мадемуазель Арманду, которая показалась мне еще более величественной, чем когда бы то ни было! Глядя на нее, я вспомнил Мария на развалинах Карфагена. Разве не пережила она крушения всех своих верований, всех надежд? У нее осталась лишь вера в бога. Всегда печальная, молчаливая, она сохранила от былой красоты одни глаза, поражавшие необычайным блеском. Когда она шла к обедне с молитвенником в руках, я, увидев ее, подумал, что она молит бога отозвать ее в иной мир».

Жарди, июль 1837 г.

notes

Примечания

Начало романа Бальзак напечатал в журнале «Кроник де Пари» в марте 1838 года. Его продолжение, названное Бальзаком «Провинциальное соперничество», появилось в газете «Конститюсьонель» в сентябре — октябре того же 1838 года.

В 1839 году «Музей древностей» был выпущен отдельным изданием в двух томах. Роман делился на главы: 1. «Два салона», 2. «Дурное воспитание», 3. «Дебют Виктюрье́на», 4. «Прекрасная Мофриньез», 5. «Шенель помогает д'Эгриньонам», 6. «Провинциальный суд», 7. «Судебный следователь», 8. «Судебный поединок», 9. «Неравный брак».

В 1844 году «Музей древностей» вошел в издание «Человеческой комедии» в третий том «Сцен провинциальной жизни». В этой окончательной редакции романа деление на главы было упразднено.

Братья Тьерри. — Огюстен Тьерри (1795—1856) и его брат Амедей (1797—1873) — французские историки.

«...во время Смуты...» — Французские аристократы называли «смутой» французскую революцию XVIII в.

Это наш герб (*лат.*).

...события 1815 года... — Речь идет о побеге Наполеона с острова Эльба, его возвращении во Францию в марте 1815 г. и вторичном правлении, получившем в истории название «Ста дней» (20 марта — 22 июня 1815 г.).

Закон о возмещении убытков. — В апреле 1825 г. реакционное министерство во главе с одним из лидеров крайних роялистов Виллелем, провело закон, по которому дворяне-эмигранты, чьи поместья были во время французской буржуазной революции XVIII в. конфискованы и превращены в национальное имущество, получили вознаграждение в общей сумме до одного миллиарда франков.

Полиньяк Жюль-Арман (1780—1847) — французский реакционный политический деятель, крайний роялист; в 1829—1830 гг. возглавлял кабинет министров Франции.

«...протестовать против Хартии, изданной Людовиком XVIII...» — Имеется в виду так называемая «Конституционная хартия», подписанная Людовиком XVIII в 1814 г. и провозглашавшая установление во Франции конституционной монархии с двухпалатным парламентом.

Лаффит Жак (1767—1844) — французский банкир и политический деятель, один из руководителей буржуазной оппозиции во время Реставрации, министр Июльской монархии, представлял интересы крупной буржуазии.

Перье Казимир-Пьер (1777—1832) — французский банкир и политический деятель. При Реставрации — член палаты депутатов, один из вождей либеральной оппозиции. В 1831 г., будучи премьер-министром и министром внутренних дел, жестоко подавил восстание лионских ткачей.

Пейронне Шарль (1776—1854) — французский политический деятель, крайний роялист, один из реакционных министров в царствование Карла X.

Бенжамен Констан (1767—1830) — французский писатель, автор психологического романа «Адольф», политический деятель. При Реставрации считался одним из виднейших ораторов либеральной оппозиции в палате депутатов. Бальзак имеет в виду его книгу «О религии».

Шатобриан Франсуа-Рене (1768—1848) — французский писатель-романтик; был недолгое время министром иностранных дел при Людовике XVIII.

«...в заявлении «двухсот двадцати одного». — Имеется в виду политическая декларация группы депутатов французского парламента, в марте 1830 г. требовавших отставки ультрароялистского кабинета Полиньяка.

«Антикварий» — роман Вальтера Скотта (1771—1832).

Сен-Пре — действующее лицо романа Жан-Жака Руссо (1712—1778) «Новая Элоиза».

Ловлас (или Ловелас) — развратный светский щеголь, персонаж романа английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1689—1761) «Кларисса Гарлоу» (точнее — «Кларисса, или История молодой леди»).

«...можно сравнить с наставлениями Дедала Икару». — По древнегреческим мифологическим сказаниям, Дедал изобрел крылья для полета в воздухе. Его сын Икар вопреки наставлениям отца поднялся слишком высоко вверх, и солнечные лучи растопили воск, которым были скреплены крылья; Икар упал в море и утонул.

Видам — старинный дворянский титул во Франции.

Сганарель и Жеронт — действующие лица комедии Мольера «Лекарь поневоле», а также традиционные персонажи французского народного театра.

Маскариль — популярный во французской комедии XVII—XVIII вв. образ плутоватого лакея, ловкого интригана и пройдохи.

Моя вина (*лат.*).

Баярд Пьер (ок. 1473—1524 гг.) — французский полководец. Историческое предание изображало его образцом рыцарской чести и доблести, «рыцарем без страха и упрека»

Бюффон Жорж-Луи Леклер (1707—1788) — французский ученый-натуралист, автор многотомной «Естественной истории»,

Селимена — действующее лицо комедии Мольера «Мизантроп», светская кокетка.

Панург — действующее лицо романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Мадемуазель Марс — Марс Анна-Франсуаза (1779—1847) — известная французская актриса.

Амио Жак (1513—1593) — французский писатель-гуманист; перевел на французский язык «Сравнительные жизнеописания» Плутарха.

Герцог Энгийенский (1772—1804) — член королевской фамилии Бурбонов, казненный по приказанию Наполеона I в 1804 г. по обвинению в государственной измене.

Первый консул. — После государственного переворота 18 брюмера (9 ноября) 1799 г. власть во Франции перешла в руки трех консулов — Наполеона Бонапарта (первый консул), Сийеса и Роже-Дюко. В 1802 г. Наполеон сделался уже единственным консулом, а в 1804 г. — императором Франции.

Маренго — селение в Северной Италии, где в июне 1800 г. французские войска под командованием Бонапарта одержали победу над австрийской армией.

Ватерлоо — селение в Бельгии, где 18 июня 1815 г. армия Наполеона I потерпела решительное поражение, в результате которого Наполеон вынужден был отречься от престола.

Карон Огюстен-Жозеф (род. в 1774 г.) — подполковник французской армии. Участвовал в заговоре карбонариев в Бельфоре; казнен в 1822 г.

Бертон Жан-Батист (род. в 1769 г.) — французский генерал в отставке, руководитель восстания карбонариев в городе Туаре; казнен в 1822 г.

«...старинных парламентов...» — До буржуазной революции 1789—1794 гг. во Франции парламентами назывались учреждения с судебными и административными функциями, состоявшие из представителей всех трех сословий.

Поль и Виржиния — связанные друг с другом идиллической любовью на лоне природы юные герои одноименного романа французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814).

Макиавелли Никколо (1469—1527) — итальянский политический деятель и писатель эпохи Возрождения. Его имя — синоним циничного и беспринципного политика, не останавливающегося ни перед какими, даже преступными, средствами.

Камюзо — курносый (фр.).

«...в дни мятежа...» — то есть в дни буржуазной Июльской революции 1830 г.